

**Ханох Дашевский**

# *Дыхание жизни*

*роман*

Книга первая

Москва  
«Вест-Консалтинг»  
2019

УДК 82-3  
ББК 84(2Рос=Рус)6  
Д 21

Д 21 Дашевский Х.  
Дыхание жизни/ Роман. Книга первая —  
М.: «Вест-Консалтинг», 2019 — 152 с.

**ISBN 978-5-91865-570-2**

Роман «Сертификат» является первой частью трилогии «Дыхание жизни», охватывающей 30–40 гг. прошлого века. В книге представлены несколько сюжетных линий, где судьбы членов семьи известного рижского доктора Гольдштейна тесно переплетаются с другими нелёгкими судьбами на фоне одного из самых трагических периодов мировой и еврейской истории. Действие романа происходит в Латвии, Палестине, Америке и на советско-германском фронте. Это история ошибок и заблуждений, неверия и веры, бескорыстия и эгоизма, надежды и любви. Автор поставил своей целью не просто изложить, в очередной раз, историю войны и Холокоста, а показать всю неоднозначность ситуации, где не всегда есть абсолютные праведники и злодеи, но существует неумолимая логика событий, которая ставит человека по ту или иную сторону барьера.

*В оформлении обложки книги использованы материалы  
сайта бесплатных изображений [pixabay.com](http://pixabay.com)*

© Ханох Дашевский, 2019  
© «Вест-Консалтинг», оформление, 2019

*Но Он сказал мне: пророчествуй дыханию жизни, пророчествуй, сын человеческий, и скажешь дыханию жизни: так говорит Господь Бог: от четырёх ветров приди, дыхание жизни, и дохни на убитых этих, и оживут они...*

*(Иезекииль 37, 5–6)*

*Моей жене, которая поддерживала меня на всех этапах работы над книгой, посвящаяю.*

Доктор Залман Гольдштейн, еврейский врач из Риги, не чувствовал приближения цунами. На берегу Балтийского моря он построил свою жизнь и карьеру и не собирался покидать родные места. Судьба доктора была такой же, как судьбы других его соплеменников, в одно мгновение ставших изгоями, но отличалась от участи коренных нееврейских жителей, на которых тоже накатила нацистская волна. Большинство из них, даже испытывая давление оккупантов, могло не опасаться за свою жизнь, а евреев расовая политика нацистов приговорила к смерти.

И всё же до определённого момента ситуация не была фатальной. Из независимой Латвии можно было уехать. Проблема состояла в том, что перед войной едва ли не все страны закрыли перед беженцами границы. И даже историческую родину еврейского народа управлявшие Палестиной англичане сделали почти недоступной для потенциальных репатриантов. Нужно было иметь сертификат — разрешение на въезд, и Залман Гольдштейн был одним из немногих владельцев сертификата. В тот момент правильный выбор означал жизнь, неправильный — смерть, и боязнь перемен, нежелание нарушить сложившийся жизненный уклад вели к расстрельному рву. Далекое не все понимали это.

Но трилогия «Дыхание жизни» — не только рассказ о том, что может произойти, когда инертность и эгоизм преобладают над разумом и волей. В книге действуют люди разных национальностей, есть несколько сюжетных линий, и в каждой из них свои метания и муки, свои «и жизнь, и слёзы, и любовь». Наряду с вымышленными имеются реальные персонажи, а у вымышленных есть прототипы, и автор хотел показать их подлинными, живыми людьми, а не законченными злодеями или схематическими праведниками. Поэтому даже негодяи способны иногда на человеческий поступок, и отважные могут проявить слабость. Есть те, кто помогает, и те, кто убивает. Всё так, как было в жизни.

И вместе с героями трилогии у читателя будет возможность побывать на улицах довоенной Риги и увидеть этот город в роковые дни июля 1941 года, переместиться в Тель-Авив и Нью-Йорк, в окопы под Таллином и на один из кораблей Балтийского флота, совершающих трагический Таллинский переход, в поля Подмосковья и на берега Волхова, в освобождённый от гитлеровцев Каунас, где притаились вчерашние коллаборационисты, ограбившие своих жертв и занявшие их дома, и в послевоенную Европу, где агенты Хаганы<sup>1</sup> собирают уцелевших, чтобы переправить их в Палестину. В книге есть поэзия: читатель сможет познакомиться с поэтом Йосефом Цимерманом и его стихами. Взявшие в руки роман «Сертификат» и две книги, которым предстоит составить продолжение романа: «Долина костей» и «Рог Мессии», узнают о тех, кто тяготясь своим бессилием шёл на заклание, и о тех, кто взял в руки оружие и, пройдя фронты Отечественной войны, принял участие в борьбе за создание еврейского государства. Автор не ставил задачу превратить трилогию в стенание или книгу ужасов, оплакивая жертвы, описывая со всеми натуралистическими подробностями войну и Холокост, а предпочёл приглушённые эмоции, сдержанный тон и сосредоточенность на конкретных человеческих судьбах, — то, что может, порою, сказать о борьбе и страданиях больше, чем вопль и надрыв. События, описанные в романе, не только часть истории евреев, не только часть истории Латвии, — это и часть российской истории.

---

<sup>1</sup> Буквально «оборона». Боевая организация евреев Палестины, в 30–40 гг. прошлого века, выполнявшая задачи по осуществлению нелегальной репатриации.

*Книга первая*

# *Сертификат*

*...Погибнут от меча все грешники народа  
Моего, которые говорят: «Не постигнет  
и не придёт на нас это бедствие...*

*(Амос 9, 10)*



# PALESTINE

## Statement of Policy

*Presented to the House of Commons in the Session at Palestine  
by Command of His Majesty  
May, 1948*

LONDON

PRINTED AND PUBLISHED BY HER MAJESTY'S STATIONERY OFFICE  
To be purchased direct from H.M. STATIONERY OFFICE at the following addresses:  
York House, Kingsway, London, W.C.2; 490 George Street, Edinburgh 3; 25  
ab York House, Manchester 2; 4 St. Andrew's Place, Cardiff; 25  
St. Nicholas Street, Belfast;  
or through any bookseller

1948

Price 6d. net

Cmd. 6519

## Глава первая

Болела спина, но в подвале, набитом людьми, Залман Гольдштейн не мог ни лечь, ни вытянуть ноги. Полчаса тому назад высокий, крепкий латыш с такой силой ударил его прикладом в спину, когда он замешкался у двери, что Залман только чудом не скатился с лестницы. Он боялся получить новый удар, и старался двигаться как можно быстрее, чувствуя, как позади него тяжёлые сапоги шуцмана пересчитывают ступени. Не прошло и минуты, как Залмана втолкнули в уже заполненный испуганными людьми синий автобус, до войны перевозивший пассажиров по улицам Риги, а теперь приспособленный, как посмеивались бравые латышские парни, для «санитарных целей». Ещё минута, и дом на улице Бривибас исчез из вида. Проехав по улице Стáбу автобус свернул на Вáлдемара, где в особняке высланного Советами в Сибирь банкира Шмуляна, располагалась «контора» руководителя «команды безопасности» Виктора Арайса.

Сидя на грязном полу, Гольдштейн понимал, что из подвала, где он находится, обратной дороги нет: почти все попавшие сюда евреи исчезали здесь навсегда. Не испытанный никогда ранее ужас, поднимаясь из сумрачной глубины своего постоянного обитания, охватывал его, лишая способности думать. Тогда он впадал в забытие, но когда сознание возвращалось, вместе с ним возвращались не покидавшие его ни на мгновение мысли. Как могло такое случиться? Почему, игнорируя предупреждения, сомневаясь и не доверяя, он дождался самого худшего? Ему бросали спасательный круг, а он в своём дурацком высокомерии отталкивал его, потому что видел вокруг лишь спокойные воды и не понимал, что за этим коварным затишьем поднимается волна, которая погубит всех.

Тот декабрьский день 1938 года доктор Гольдштейн запомнил очень хорошо, потому что вечером этого дня у него произошла серьёзная размолвка с женой. Накануне закончилась Хáнука, отгорели

восемь свечей, и хотя днём открывали окна, запах воска ещё чувствовался в гостиной. Войдя в квартиру, Гольдштейн сбросил пальто служанке Марте, помыл по неизменной докторской привычке руки, и прошёл в большую светлую комнату. Ничто не предвещало скандала, и только звуки музыки, издаваемые «Бехштейном», вызывали в душе, как нередко случалось в последние годы, вместо желанного умиротворения сáднящее чувство утраты. С женой у Залмана были хорошие отношения, построенные на взаимном стремлении как можно меньше ворошить прошлое. Вот именно — хорошие, — с грустью подумал Гольдштейн, потому что как ни старались оба склеить возникшую в их отношениях трещину, линия разлома всё равно проступала.

Увидев Залмана, Фира перестала играть. Доктор рассчитывал на семейный ужин. Жена была рядом, Лия занималась чем-то у себя в комнате, но отсутствовал Мойше, которого дома и в гимназии звали Михаэлем: по вечерам он занимался боксом в спортивном клубе «Макка́би»<sup>1</sup>. Будь на то воля Гольдштейна, он так и назвал бы сына — Михаэлем, но отец доктора реб Исрóэл, неизменный гáбэ<sup>2</sup> синагоги «Зéйлен-шул», не соглашался ни за что. Какой может быть Михаэль, когда его покойного отца звали реб Мойше? Папа серьёзно нервничал, и Залману пришлось уступить.

Доктор поцеловал жену, поймав её улыбку. Долгожданный ужин откладывался. Нужно было ждать Михаэля. На самом деле Залман был против увлечений сына. Бокс? Ну что это за калечащий спорт? А кроме того, что это за спортивный клуб, из которого Михаэль приносит домой сомнительные идеи? Заразился сионизмом и рассуждает о Палестине, как взрослый. Что за блажь? Мальчику всего-то пятнадцать лет. Ну, конечно, — у него там родной дядя. И Фира, он, Залман, в этом уверен, тайно Михаэля поддерживает. Не понимают они оба, что такой жизни, как в Латвии, у них в Палестине не будет. Придётся всё начинать сначала, и где? В азиатской пыли и грязи? Взгляд доктора упал на круглый обеденный стол, где лежал большой распечатанный конверт, а рядом — письмо и ещё одна бумага: по виду какой-то документ. Непокойное сердце подсказало, что это тот самый документ, который доктор Гольдштейн меньше всего хотел бы видеть.

<sup>1</sup> Связанная с сионистским движением всемирная спортивная организация.

<sup>2</sup> Синагогальный староста (*идиш*).



— Фиреле, — начал было доктор, собираясь задать естественный в подобном случае вопрос, но Фира опередила:

— Давид прислал письмо и сертификат.

— Но разве мы просили?

— Мне всё больше кажется, что этот документ нам очень скоро пригодится.

— Что всё это значит, дорогая? — Залман почувствовал, как в нём начинают говорить два голоса. Один, раздражённый, доказывал, что надо быть категоричным и жёстким. Другой, спокойный и тихий, убеждал не спорить и поискать путь к компромиссу.

— Нам придётся серьёзно поговорить, Зяма. Но сначала прочитай.

Гольдштейн взял в руки письмо. Написанное на идиш неровным почерком, оно читалось с трудом. Доктор давно отвык от такого чтения. На идиш он говорил только с отцом и тёщей, да ещё со своей сестрой Мирьям. Другая сестра, Гита, была вся в маму. В доме Гиты говорили по-немецки, поэтому госпоже Хане больше всего нравилось бывать у старшей дочери. Мать Залмана — коренная рижанка презирала идиш. Родители Ханы, потомки выходцев из Курляндии<sup>1</sup>, считали её брак мезальянсом, они долго не давали на него согласия, пока претендент на руку их дочери не выучил кое-как немецкий язык. Реб Исроэл тоже выдавал себя за рижанина, но при этом тщательно скрывал, что родился в латгальском местечке Прёйли. Зато в семье доктора Гольдштейна говорили не только по-немецки, но и по-латышски. Такой порядок Залман установил с первого дня: в его доме не должен звучать жаргон, который почему-то называется языком идиш. Благодаря матери и тому что доктор изучал медицину в Гейдельберге, он говорил не на каком-то провинциальном диалекте, а на «хох дойч» — литературном немецком языке. А латышский был языком государства, за свободу которого Гольдштейн воевал в девятнадцатом году. Памятный знак и памятную медаль участника освободительной войны он считал своими главными наградами. Только одно не удалось Гольдштейну: как ни старался он называть жену Эстер, Фира, чья семья происходила из Двинска<sup>2</sup>, ни за что не хотела отказываться от привычного произношения, как, впрочем,

<sup>1</sup> Находившаяся под многовековым немецким влиянием западная часть Латвии.

<sup>2</sup> Ныне Даугавпилс. До присоединения в 1920 г. к Латвии входил в состав Витебской губернии.

и от идиша, своего родного языка. Пришлось Залману учить жену немецкому, и он поступил мудро: Фира хотела играть, у неё был почти абсолютный слух, и доктор взял для неё учительницу музыки, прибалтийскую немку Амалию Стессель.

Зная, что жена легко читает письма брата, Залман протянул ей листок:

— Прочти лучше ты.

«Дорогие мои Фира и Зяма, — писал Давид, — дорогие племянники Мойше и Лия! Вам мои объятия, поцелуи и поздравления с Ханукой. Вас обнимают моя жена Ципора и сыновья Йозель и Эзра. Когда мы станем зажигать ханукальные свечи, мы будем думать о вас — о том чтобы мы все вместе зажгли через год эти свечи в Стране Израиля, единственной в мире стране, где должны находиться евреи. Сон не приходит ко мне, когда я думаю о том, что ваша жизнь под угрозой. По вечерам я выхожу из дома, иду к морю, и там, на берегу, пытаюсь понять, что я ещё не сделал, каких слов не нашёл, чтобы убедить вас как можно скорее уехать. Потому что под этими соснами, под которыми вы пока ещё гуляете, может пролиться еврейская кровь. Ради Бога не медлите! Посылаю вам сертификат — разрешение на въезд в Палестину. Этот документ получить очень трудно, особенно сейчас, когда британцы чинят любые препятствия беженцам из Европы. Хотя вы могли бы въехать и без него, как люди состоятельные, но сертификат — это гарантия, с ним вам будет легче, в том числе и в дороге: кто знает, как всё сложится. Путь непростой и неблизкий. Помните, дорогие, что цена этому документу — жизнь. Ведь вы сидите на вулкане». Дальше брат Фире описывал как строится и растёт Тель Авив, сообщал палестинские новости, а в конце вновь настойчиво просил отнестись к его письму со всей серьёзностью.

Положив письмо на стол, Фира произнесла:

— Что ты думаешь, Зяма?

Фира хорошо знала, что думает Зяма, но хотела послушать, что он скажет. Может быть письмо Давида, взволнованное и тревожное, произвело впечатление?

А Залман думал о том, что Фирин брат начинал свою жизнь в Палестине с коровника в кибуце<sup>1</sup> и изнурительной работы в поле. А после долбил киркой каменистую почву, строя дороги, с первопроходцами закладывал поселения, был одним из командиров самообороны, а теперь является важной фигурой в этом, как его (доктор с трудом вспомнил древнееврейское слово), ах да, ишув<sup>2</sup>. И он, доктор Гольдштейн, восхищается шурином, но ему, известному рижскому врачу, что делать в Палестине? Бедняков лечить? Так их у него в больнице «Бикур холим»<sup>3</sup>, где он постоянно консультирует, тоже хватает. И вообще: «Под этими соснами, под которыми вы гуляете, прольётся еврейская кровь». Какая кровь? Убьют всех? Выстроят в ряд и станут палить из пулемётов? Что за вздор? Кому в Европе придёт такое в голову? Да, национал-социалисты в Германии наложили на евреев жёсткие ограничения, даже всегерманский погром недавно устроили, но где Германия и где Латвия? Президент Ульманис правит твёрдой рукой и ограничивает радикалов. «Пёрконкрустс»<sup>4</sup> запрещён. И Гольдштейн не сдержался:

— Знаешь, Фира, мне нравится твой брат, но не нравится его агитация. Он говорит вещи, в которые трудно поверить. Это ещё не повод, чтобы всё бросить. Наломать дров легко, а кто потом собирать будет? Делай что хочешь, но с Давидом я не согласен. Нельзя нам трогаться с места. Сейчас, когда всё хорошо, когда у моей клиники такая известность — как можно всё это оставить? А дети? У них привычная жизнь, учёба — каково им будет там, где всё по-другому? В арабской наполовину стране, где осёл перекрикивает муэдзина, и наоборот? — Залман начал стремительно выкладывать всё, что знал и не знал о Палестине. Фира покачала головой:

— В этом ты весь. Йёсэф, в отличие от тебя...

Этого говорить не следовало. Фира прикусила язык, но было поздно. Она поняла это по изменившемуся лицу Залмана:

---

<sup>1</sup> Сельскохозяйственная коммуна.

<sup>2</sup> Еврейское национальное образование в Палестине до создания г-ва Израиль.

<sup>3</sup> Благотворительное общество и еврейская больница в Риге.

<sup>4</sup> Крест Пёркона (Перуна) — крайне антисемитская пронацистская организация в довоенной Латвии.

— Йосэф? — саркастически переспросил доктор. — И о чём же думает Йосэф? Не о том ли, как увести жену от мужа и мать от детей?

Фира побледнела. Это был нехороший признак.

— В отличие от тебя, — решила не останавливаться она, — Йосэф готов был уехать со мной даже в Палестину. И мои дети не были для него помехой. А знаешь ли ты, что он уже собирался открыть для них банковский счёт? Положить туда немалую сумму? Доказать, что его намерения серьёзны? Но я уговорила его этого не делать. Как будто чувствовала, что вернусь к тебе.

На этот раз побледнел Залман. Прежде жена ничего такого не рассказывала. Так вот как далеко зашло у них дело. А что если это не всё, что ему известно? Кто теперь знает, какие ещё тайны у Фиры?

— Я только думаю, — проговорил он медленно, тщательно выговаривая каждое слово, — как случилось, что я раньше об этом не знал. Значит, ты мне не всё рассказала? И какие ещё у тебя секреты? Ведь мы договорились, что всё останется в прошлом, а сегодня ты снова назвала этого человека по имени.

— Мне кажется, мы уходим в сторону, — совершив оплошность, Фира явно пыталась сменить тему. — Давид пишет, что мы сидим на вулкане. И я ему верю. Вот и Михаэль говорит...

— Михаэля оставь в покое! — доктор почувствовал, как тлевшее в нём раздражение постепенно превращается в гнев. — Это твой брат ребёнка настраивает! Что он в свои пятнадцать лет понимает?! Я запрещаю Михаэлю переписываться с Давидом!

— А я тебе говорю, что Михаэль писал и будет писать дяде! Знаешь что, Зяма, мы сейчас с тобой напрасно ссоримся, а мой брат не случайно пишет, что нам надо поторопиться. Между прочим, ты сам мне сказал на днях, что встретил Зенту.

Залмана охватило негодование:

— Что ты сравниваешь! То что у меня было с Зентой, из-за тебя произошло. Ведь это ты мне изменила. Если бы не ты, я бы никогда себе не позволил. А про Зенту рассказал, чтобы показать тебе, что я ничего от тебя не скрываю, и для меня Зента — просто знакомая. А ты мне что-то недоговариваешь. Какие у тебя тайны?

— Нет никаких тайн, Зяма! И с этим человеком у меня всё кончено. С тех пор как я вернулась домой, ни разу его не видела. Разве я тебе когда-нибудь лгала? Сейчас нам надо другой вопрос решать, от этого наше будущее зависит. А если это вопрос жизни и смерти?

Но Гольдштейн уже не мог остановиться:

— Тебе мало, что ты пробила в наших отношениях такую брешь, которую заделать трудно? То что ты совершила — это классический адюльтер, и сам я — классический персонаж: доверчивый муж, который ничего не подозревал. Верил тебе, как себе самому. И сейчас вы с ним о чём-то сговариваетесь. Я это чувствую. С тех пор как вы расстались, этот Йосэф так и гуляет холостым. Не тебя ли дожидается? Вот что, Фира! Я отказываюсь обсуждать это письмо. Ни в какую авантюру ты меня не впускаешь. Зря обещаешь брату, что мы приедем. Опять за моей спиной что-то варишь. Этот сертификат — твоя работа. Если тебе так хочется — пожалуйста! Бери своего Йосэфа и поезжай! Могу дать тебе гет!<sup>1</sup>

Фира с грустью посмотрела на мужа. В её глазах стояли слёзы, и большие зеленовато-серые глаза, которые всегда так волновали Гольдштейна, казались ещё красивее, ещё больше:

— Ты старый глупец, Залман! — сказала она и вышла из комнаты.

Вот так, — подумал доктор. — Два года прошли, а забыть не может этого молодого бездельника. Правда, богатого. Ну и что? Это причина вести себя так, словно она не жена и не мать? Сказала бы спасибо, что я не дал разрастись этой истории, не опозорил её на весь город, пока она неизвестно где с любовником находилась. Залман сел в кресло и сжал руками голову. Воспоминания были слишком тяжелы

---

<sup>1</sup> Разводное письмо.

и вызывали такую горечь, как будто всё это не закончилось два года назад возвращением и раскаянием Фиры. Но до сегодняшнего дня они с женой удачно обходили опасную тему, как обходят, идя босиком, острые камни. Что же произошло? Неужели всё из-за какого-то сертификата?

Зента! Может, не надо было напоминать о ней Фире? Хотел, как лучше, а получилось глупо. Уже после того, как Фира вернулась, он стал оказывать знаки внимания своей медсестре — светловолосой латышке Зенте. Мужское самолюбие требовало выхода, доктору хотелось отомстить. Зента была соседкой Гольдштейнов, жила на один этаж выше. Муж Зенты, преподаватель университета, был намного старше жены. Что их свело, как они познакомились — для всех оставалось тайной. Профессор, тихий, вежливый человек, типичный интеллигент, всегда старомодно раскланивался с Гольдштейном, приподнимая при этом шляпу. После смерти мужа для вдовы настали нелёгкие времена: у профессора были дети от первого брака, и большая часть наследства досталась им. Зента училась на медицинском, прошла два курса, но давно оставила занятия и была счастлива, когда сосед, известный доктор, предложил ей работу. В тот момент у Гольдштейна не было никакой задней мысли, он просто хотел помочь, и если бы не измена Фиры, никогда бы не затеял интрижку. Полгода Залман наслаждался своей сладкой мстостью, но долго так продолжаться не могло. Пришлось объясниться с Зентой и устроить её на работу к старому знакомому — доктору Балодису, вдовцу, за которого Зента вскоре вышла замуж и переехала к мужу. Жили они недалеко — на улице Тёрбатас. В клинику пришла новая сестра — Рута, и Залман старался реже вспоминать о симпатичной блондинке, к которой успел привязаться: он был очень рад, что всё так удачно устроилось. О том, что у его молодой жены была связь с Гольдштейном, доктор Балодис, конечно, не знал.

Хотя Гольдштейн считался прекрасным диагностом, он ошибался, думая что Фира увлеклась молодым и праздным сыном богача. Старый Исер Цимерман, выходец из Двинска, сделал огромный капитал на торговле лесом, но достоинством Йосэфа были не деньги отца, а поэзия. Формально Йосэф Цимерман считался совладельцем фирмы «Цимерман и сыновья», но дело вели отец и младший брат,

а Йосэф писал талантливые стихи. И хотя его охотно публиковали заграничные еврейские журналы, в Риге Йосэфа, как поэта, знали меньше. Впрочем, в этом ничего удивительного не было, так как после переворота и установления диктатуры из всей многочисленной еврейской прессы в стране остались только два издания, одно из которых принадлежало религиозной партии Агудэс Исрoэл<sup>1</sup> а другое — радикальным сионистам-ревизионистам. Залман тоже ничего не знал о литературных занятиях Йосэфа. Он вообще о нём почти ничего не знал и думал, что этот ловелас и Фира случайно познакомились на юбилее Исера, который был давним пациентом Гольдштейна. Доктор видел, как они мило беседуют о чём-то друг с другом, но не придал этому значения. Полагал, что сын Исера и Фира ведут обычный светский разговор. Если бы он только предвидел, что последует дальше, то никогда бы не пошёл с Фирой к Цимерману, хотя в тот вечер там собралось много важных людей. Но откуда ему было знать, что на самом деле его жена и Йосэф познакомились раньше. Фире было плохо, она пребывала в смятении. После четырнадцати лет брака ей стало казаться, что её отношения с мужем зашли в тупик, что поблекшие чувства превратили их совместную жизнь в рутину. И навстрив однажды свою подругу Эмму, Фира застала у неё дома какого-то мужчину.

— Как хорошо, что ты пришла! — обрадовалась Эмма. — Познакомься!

— Йосэф, — улыбнувшись, представился новый знакомый, и Фире показалось, что этот Йосэф здесь не случайно. Она успела подумать, что у подруги интересный поклонник, и уже собиралась уйти, но Эмма прояснила ситуацию:

— Йосэф — наш друг, пришёл к моему мужу, а тот почему-то решил, что они договорились встретиться в еврейском клубе. Теперь пьём чай и ждём моего путаника. Это у него не в первый раз. И как ему удаётся при этом свои дела вести? А Йосеф, между прочим, поэт.

— Ну что ты, Эмма. Если я пишу стихи, это ещё ничего не значит, — заскромничал Йосэф.

---

<sup>1</sup> Всемирное движение ортодоксальных евреев (совр. Агудат Исраэль).

— Как не значит? — не сдавалась Эмма. — То что ты — известный поэт, даже я знаю. Сам Бялик<sup>1</sup> тебя отметил, когда в Ригу приехал. Почитай нам что-нибудь. Фира любит стихи.

— Йосэф с интересом посмотрел на Фиру:

— Это правда? Вы любите поэзию, Фира?

— Очень.

— Ну, хорошо. Тогда слушайте:

*Когда мерцает жёлтый лик луны,  
И распускает ночь над миром крылья,  
Когда сияньем небеса полны  
От звёздного ночного изобилья,  
Прильни ко мне в молчании Земли,  
И обними, как только ты умеешь!  
Какие горы высятся вдали,  
К которым ты приблизиться не смеешь?  
Какая непонятная тоска  
Тебя насквозь, как лезвие, пронзила?  
Вот на твоём плече моя рука —  
Её не сбросит никакая сила.  
А над тобою — свет высоких звёзд,  
И лунный диск, таинственно манящий.  
Любовь моя, взойди на тонкий мост  
В неведомую бездну уходящий*

— Гениально! — захлопала в ладоши Эмма. — Так и видишь эту картину: таинственная ночь и женщина, которая стремится к возлюбленному, но не решается сделать последний шаг. И Эмма пристально посмотрела на Йосэфа.

Фира зачарованно молчала.

Прибежал Натан, муж Эммы, и они пили чай с тортом, который Натан, как виновник недоразумения, принёс из знаменитого кафе Цимбура. И Эмма, не очень-то стесняясь присутствия мужа,

<sup>1</sup> Знаменитый еврейский поэт, в 1932 г. посетил Ригу.



смотрела на Йосэфа так, что только слепой мог не заметить её особый интерес к этому человеку. Но Йосэф никак не реагировал на вызов Эммы.

И как-то так получилось, что Йосэф и Фира вышли на улицу вместе. И почему-то Йосэфу нужно было в ту же сторону, что и Фире. Они говорили о многом: Йосэф умел рассказывать, умел слушать, и Фире было так хорошо, как не было уже давно. А может, — она не хотела и боялась себе в этом признаться, — не было никогда раньше. Они не могли наговориться, им трудно было расстаться друг с другом, а тут ещё выяснилось, что семья Йосэфа тоже из Двинска. Прошло совсем немного времени, и Фира обнаружила, что думает о Йосэфе, что этот человек прочно вошёл в её жизнь. Они ни о чём не договаривались, они ни разу не встретились друг с другом, но Фира знала точно: Йосэф тоже думает о ней.

Залман был прав: всё решилось на том самом юбилее, о котором он вспоминал с тяжёлым сердцем. Но Фира ушла не сразу. Ещё несколько месяцев она боролась с собой, понимая что вступив на тонкий мост, рискует рухнуть в пропасть, если о её отношениях с Йосэфом будет знать вся еврейская Рига. Йосэф так же, как и Фира, не хотел скандала и увёз её за границу. Уходя, жена оглушила ничего не подозревавшего Залмана, сказав ему правду, но через два месяца вернулась и была счастлива, оттого что никто не узнал о её поступке — ни взрослые, ни дети. Даже родная мать Фиры не знала, где её дочь — доктор говорил всем, что отправил жену на лечение, и передавал от неё приветы. Но главное — молчал Йосэф. Вернувшись в Ригу, он даже намёком не выдал, где был и с кем. Это помогло Залману и Фире заново строить отношения. Сама же Фира, пока была с Йосэфом, не задавалась вопросом, ждёт ли её Залман. На этот счёт у неё не было сомнений.

Хуже всех чувствовал себя Йосэф. Он действительно хотел жениться на Фире, и если вначале опасался реакции родственников и знакомых, которых у семьи Цимерман было множество, то вскоре ему стало всё равно. И то что Фира была на два года старше, и то что у неё были дети, не играло в тот момент никакой роли. Обоих охватила страсть, которую нельзя было остановить никакими доводами

разума. Но если Йосэф окончательно потерял голову, то у Фиры, когда первый угар прошёл, начались мучения. Выросшая в традиционной семье, Фира страдала, оттого что ни замужество, ни материнство не смогли удержать её от увлечения другим мужчиной, и порой эти страдания были невыносимы. Именно они вернули Фиру домой, и с тех пор она старалась избавиться от охватившего её чувства. Только сделать это безболезненно не получалось, запретный плод приходилось вытравливать с кровью. Связь с Йосэфом открыла Фире такие высоты и такие бездны, о которых она ничего не знала, восемнадцатилетней девушкой выйдя замуж. Залман был интересным мужчиной и всегда нравился Фире, но с Йосэфом она получала то, чего не хватало её романтической и пылкой натуре. С ним она достигала всей глубины безумия и восторга. И всё равно, даже в те минуты, когда голова была в небесах, ноги Фиры прочно стояли на земле, и, в конце концов, привели её обратно к Залману. Лишь небольшое стихотворение Йосэфа, написанное накануне расставания, напоминало о коротком периоде безудержного счастья. Иногда Фира вынимала из шкатулки сложенный вдвое листок и перечитывала строки, которые знала наизусть. Они как бы продолжали услышанные ею в первые стихи Йосэфа, они как бы подводили итог:

*Нет ничего печальнее любви,  
Когда она приходит слишком поздно.  
Забудь меня и, как цветок, живи:  
С луной играй под крышей неба звёздной.  
А я уйду. И унесу с собой  
Твои глаза в предутреннем тумане.  
И будет этот сумрак голубой  
Напоминать о незакрытой ране.  
Сойдутся дождевые облака,  
И в день ненастья, в грустный день осенний  
Увижу я тебя издалека,  
Но не смогу обнять твои колени.*

## Глава вторая

На третий день после размолвки с Фирой, Залман пошёл в еврейский клуб. Ему надо было поднять настроение. С женой он почти не разговаривал: Фира игнорировала все попытки примирения. Доктор догадывался, что теперь только согласие на отъезд может изменить положение. В ближайшие дни нужно было принять решение: либо он соглашается, либо...

В этот вечер людей в клубе было немного, и Залман обрадовался, когда к нему подошёл старый друг и однокашник по гимназии известный рижский адвокат Макс Лангерман. Вот кого он сто лет не видел! Приземистая и плотная фигура Макса источала аромат достатка и успеха. И когда Гольдштейн стал говорить о том, что жена настаивает на отъезде, Лангерман перебил его, разъясняя уверенным адвокатским голосом международное положение:

— Гитлер, конечно же, хочет войны. Но войны на востоке. Расовая политика нужна ему, чтобы объединить немцев и заполнить все немецкие земли перед походом на Москву. Демократы скормили Гитлеру Судеты, потому что знают: Гитлер никогда не пойдёт против Сталина один, оставив у себя в тылу западные страны. Раньше или позже ему придётся договариваться с Западом, и даже если Америка, Англия и Франция не примут активного участия в будущей войне, они должны будут поддержать и снарядить Гитлера. Без них он не справится. И тогда германскому фюреру придётся смягчить риторику и положить расовые законы на полку. А если он не сделает этого,— Лангерман понизил голос, как будто сообщал Залману военную тайну,— как ты думаешь, почему ушёл в отставку генерал Бек? А потому что у Гитлера есть военная оппозиция. Потому что большинство старых германских генералов против Гитлера. И они не позволяют ему втянуть страну в авантюру, воюя на два фронта. Поэтому, дорогой доктор, лечи спокойно своих больных. Доктора всем

нужны: и латышам и немцам. И евреям, как это ни странно. И вот ещё что, — адвокат поднял палец, словно делал в суде сообщение, которое должно было изменить ход процесса, — Йосэф, сын старика Цимермана, собирается уезжать. Где-то месяц назад ко мне приходил, просил вести его дела.

Залман почувствовал, что его сердце забилося так, словно вот-вот выскочит из груди. Стараясь сохранить спокойствие, он спросил у Макса:

— И куда же он едет, этот Йосэф?

— В Палестину, доктор. Там его уже ждут. Оказывается, Йосэф Цимерман — восходящая звезда еврейской поэзии. Пишет на идиш, но в Палестине собирается перейти на иврит. Очень талантливый человек. У него в семье...

Лангерман говорил ещё что-то, но Залман уже не слушал. Йосэф Цимерман — поэт? Кто бы мог подумать? За литературой, тем более еврейской, доктор не очень-то следил. Так-так, значит в Палестину едет. Наверняка не самым бедным уезжает. Зная его отца, можно в этом не сомневаться. С таким капиталом ему сертификат не нужен. Но зачем же он едет в Палестину? С его деньгами — что он там забыл? Или нельзя быть еврейским поэтом, не думая о хлебе баловаться стихами, в более комфортабельном месте, там где евреев намного больше — в Америке, например? Нет, что-то здесь не то. Выстраивается связь. Йосэф в Палестину — и Фира туда же. А доктор Гольдштейн — для того чтобы Фиру из Риги увезти. Здесь-то им сойтись труднее, слишком велик скандал — вся Рига Цимерманов знает. Да и у Фире мать, которая на дочку не налюбуется. Кого ни встретит, тут же: «Такой преданной жены, как моя Фирочка, нет ни у кого». Знала бы она правду! А в Палестине этой паре скандал нипочём. Там сионисты на традиции плевать хотели. Что им эти хуны<sup>1</sup> и геты? У них в этих, как их там, кибуцах всё общее, даже свободные отношения существуют. Вот и отец говорит то же самое. Вчера, когда Гольдштейн навестил родителей, реб Исроэл выбежал ему навстречу с газетой в руках:

---

<sup>1</sup> Еврейский обряд бракосочетания.

— На вот, почитай! А, ты же теперь только по-немецки и по-латышски читаешь, — не забыл съязвить папа, — так послушай: пишет рабби Меир Симха из Двинска<sup>1</sup>: «Даже если бы раздался голос с Небес, говорящий, что наш долг повиноваться доктору Герцлю, даже тогда мы должны были бы сказать, что не следует обращать внимание на голос с Небес, потому что сионистская идея, не дай Господь, ведет Израиль к гибели». Палестина заселена безбожниками, — продолжал реб Исроэл, — а разве не сказали наши учителя, что до прихода Избавителя только отдельные святые евреи могут там жить? Разве не сказано в Талмуде не подниматься в Эрэц Исроэл<sup>2</sup> стеной? — Благословен Всевышний, у меня две благочестивые дочери — твои сёстры, и ни они, ни их мужья даже не помышляют о том, чтобы взойти в Сион, не дождавшись Мошиаха<sup>3</sup>!

— Успокойся, татэ<sup>4</sup>! И я пока никуда не собираюсь.

— Эмес<sup>5</sup>? То-то я всю ночь не спал: думал, не пришёл ли вам вызов от твоего швагера<sup>6</sup>. Смотри, Зяма, чтобы Эсфирь с её братцем на тебя не повлияли. Что означает твоё «пока»? Жена настаивает? Так покажи ей, кто у вас в доме мужчина!

Распрощавшись с Лангерманом, Залман побрёл домой. Поднял, называется, настроение. Теперь оно — хуже некуда. Сейчас, когда всё ясно, согласиться на отъезд — значит быть идиотом вдвойне. Это значит — передать жену Йосэфу. Своими руками, а точнее — с рук на руки. Вот и повод сказать Фире твёрдое «нет». Гольдштейн даже обрадовался своим мыслям, решив, что теперь у него есть серьёзная зацепка. А может сделать так, как он сказал всердцах: дать Фире развод? Пусть едет. А дети? Что делать? Отдать ей детей? А он тогда с кем останется? Ни в коем случае! Пусть едет одна: детей он ни за что не отдаст. Но Фира без детей никуда не поедет. Вот оно! Похоже, намечился выход. Он говорит Фире «нет», а ей даёт возможность решать самой. Но без детей. И поскольку без детей она ничего решить не сможет — всё останется по-прежнему. А этот Йосэф пускай ждёт в Палестине.

---

<sup>1</sup> Город в юго-восточной Латвии (ныне — Даугавпилс).

<sup>2</sup> Страна Израйля — традиционное еврейское название Палестины.

<sup>3</sup> Мессии.

<sup>4</sup> Папа (*идши*).

<sup>5</sup> Правда (*идши*).

<sup>6</sup> Шурин (*идши*).

Доктор медленно поднимался по лестнице. В доме был лифт, но Гольдштейн не спешил. Предстоял сложный, быть может, очень тяжёлый разговор, и нужно было его обдумать. А если Фира говорить не захочет? Ну уж нет! На этот раз Фире придётся его выслушать. Было поздно, прислуга ушла, и Залман сам открыл квартирную дверь. Внезапно он подумал, что Фира спит. Тогда разговор придётся перенести на завтра. Этого Гольдштейну делать не хотелось. Он уже настроился. Он всё уже решил.

Но Фира не спала. И когда доктор заявил, что намерен поговорить, молча кивнула головой. Слушая Гольдштейна, она не проронила ни слова, сидела, опустив голову, и только когда он закончил, подняла свои влажные покрасневшие глаза.

— Залман! — то что жена назвала его полным именем, должно было подчеркнуть исключительную серьёзность момента, — этот разговор должен быть последним разговором о том, что произошло между нами. И то, что я тебе сейчас скажу, я больше повторять не стану. Разве я не говорила тебе, что у меня с этим человеком всё конечно? Почему ты не хочешь мне верить? Я только потому и вернулась к тебе, что рассталась с ним окончательно. Иначе бы не смогла. Ты должен понять: я ничего не делаю наполовину. Когда я была с ним, я от тебя ушла. А теперь я с тобой, и это до конца: никогда не произойдёт то, что было. Я понимаю — трудно верить человеку, который один раз уже предал, но мы ещё можем всё исправить. Послушай меня: уедем в Палестину и начнём новую жизнь.

— Серьёзно? И что же мы начнём, когда Йосэф твой туда же едет?! — с горечью сказал доктор. Он хотел ещё что-то добавить, но заметил, как изменилась Фира. У неё вдруг пропало желание продолжать разговор, она поднялась и, сдерживая слёзы, произнесла:

— Очень жаль, Зяма! Ты так ничего и не понял!

И хлопнув дверью, вышла из комнаты. Примирение не состоялось. Вернувшись в спальню, Фира вспомнила, что ещё не вскрывала полученное сегодня письмо. Вот и отлично! Сейчас у неё самое подходящее для такого письма настроение.

В эту ночь доктор не мог уснуть. Он страстно хотел верить жене, и в то же время сомневался. Конечно, Фира говорила искренне, и у него нет никаких видимых оснований её подозревать, и всё же, всё же... Нет, что-то здесь не так. Ответ не сходится. И что бы не говорила Фира, как можно быть уверенным, что там, в Палестине, ничего не произойдёт? Ведь у Йосэфа должно быть столько денег, что одному ему их никогда не потратить. Будь он беден, как большинство поэтов — ситуация была бы другой, и Фира подумала бы тысячу раз. Но этот поэт — человек с деньгами. Наверно, единственный в своём роде. И что получается? Богат, красив, талантлив. А с другой стороны он, Залман Гольдштейн, хороший врач, но человек обыкновенный. Не бедный, но сравниться с Йосефом не может. А кроме того, Йосэф молод, а доктор Гольдштейн на несколько лет старше своей жены. Ну, и кого она должна в конце концов предпочесть? Значит, всё правильно: если они уедут, останется доктор без жены и детей один среди финиковых пальм. Письмо Давида, угроза для евреев, сертификат — всё это только фон, только ширма, а нависает над всем этим тень Йосэфа.

Утром, придя раньше времени в клинику, Залман тут же позвонил Максусу. Но лишь только он начал излагать свои сомнения, адвокат расхохотался:

— Я только не понимаю, о чём я вчера с тобой разговаривал, доктор? Или коньяк оказался слишком крепким? Видел я, что ты меня не очень внимательно слушаешь, поэтому повторяю ещё раз. Специально для таких, как ты. Йосеф женился и в Палестину уезжает с женой. Что?! Не слышу! Ты ничего не знал?! А потому что большого шума не было! Поставили хупу, сделали скромную семейную церемонию — и всё. У Йосефа в семье отношения сложные. Отец им недоволен. Старший сын, наследник — и вдруг поэт. Что такое поэт? Что это за занятие — писать стихи? Ну, не понимает старик. И то что Йосэф сионистом стал, его отцу ещё больше не нравится. Старый Цимерман завещание пересматривает, а кроме того хочет значительно уменьшить долю сына в семейном деле. Вот почему Йосэфу адвокат нужен. Ну что, доктор, сейчас ты всё понял? Не так уж богат Йосэф. Кстати, знаешь кто его жена? Джуди Малкин — американка из Нью Йорка. Женщина известная: жур-

налистка, переводчица и, между прочим, поклонница Владимира Жаботинского<sup>1</sup>. Очень преданная поклонница, Жаботинский её знает лично. А познакомились Йосэф и Джуди, когда Йосэф по своим литературным делам в Америку ездил. Джуди им настолько увлеклась, что стала его стихи на английский переводить. Ну и повлияла на Йосэфа, до встречи с ней он таким убеждённым сионистом не был. Полвечера тебе об этом в клубе толковал, чем ты только слушал? И вот что я хочу сказать тебе, доктор, — продолжил Макс уже изменившимся тоном. — Твоя Фира — редкая женщина. Предпочла тебя, старого брюзгу, молодому поэту. Ну, будь здоров! Фире — мой нижайший поклон.

Положив трубку, Гольдштейн с трудом пришёл в себя. Нужно было серьёзное усилие, чтобы привести голову в порядок. Да, его Фира — редкая женщина, а он — ничтожный и мелкий ревнивец, недостойный своей жены. Она, даже в своём падении, была гораздо выше и порядочнее, чем он. Ему обязательно надо было отомстить, и он соблазнил Зенту, а потом поспешил от неё избавиться. Низко и пошло! Ведь всё произошло тогда, когда Фира уже вернулась, зачем же надо было причинять ей лишнюю боль? И теперь он возомнил, что жена его обманывает, что у неё тайный сговор с бывшим любовником. Но у Фире есть достоинство: она никогда не лжёт. Что же с ним случилось? Или за семнадцать лет совместной жизни он так и не узнал свою жену? Она совершенно не умеет хитрить. Это он хитрит, ищет зацепки, вертится, как «дрэйдл»<sup>2</sup>. Недалёкий, маленький человечек. Уж не он ли виноват в том, что Фира споткнулась? Был раздражителен, неуступчив, резок. Днём вечно занят, а вечера проводил или в еврейском клубе, или у банкира Розенталя в покер играл. И думал, старый дурак, что если жена молчит — значит, всем довольна. Господи, какие нелепые, подлые мысли пришли ему вчера и этой ночью в голову! А Макс, — Гольдштейн только сейчас сообразил, что Лангерману известно то, что они с Фирой тщательно от всех скрывали, — этот проныра-Макс, откуда он пронюхал? Ведь ни одна душа не знала. Но не зря же Макс такой умный. Наверно как-то догадался.

<sup>1</sup> Еврейский политический и общественный деятель.

<sup>2</sup> Ханукальная игрушка-волчок (*идиш*).



В тот день доктор выглядел неважно, и сестра Мара забеспокоилась. Залман тоже понимал, что ему надо отдохнуть. Он прошёл в кабинет доктора Подниекса. Доктор Густав Подниекс, средних лет высокий элегантный мужчина, и две молодые медсестры Мара и Рута составляли персонал клиники. Включая и самого владельца: он работал наравне со всеми.

Увидев Гольдштейна, Подниекс привстал в кресле.

— Сидите, сидите, доктор, — остановил его Залман. До начала приёма оставалось десять минут. Несколько пациентов уже находились в вестибюле. — Что в мире нового? — кивнул он на газету, которую читал Подниекс.

— Поразительно! Ещё несколько лет тому назад Германия была в кризисе. Но пришёл Гитлер, накормил страну и сегодня диктует условия Западу. И я нисколько не удивлюсь, если через два-три года немцы появятся у нас. Только не всем от этого будет хорошо.

Залман сделал вид, что последних слов не расслышал.

— Я попрошу вас, доктор, — сказал он, — взять сегодня на себя руководство. Что-то мне нездоровится. Лёгких пациентов может принять Мара. Она опытная.

— Я думаю, что и Рута тоже...

— Руте надо ещё подучиться. Пусть она поработает с вами.

— И всё же я считаю, что у Руты достаточно умения, но, — и Подниекс сделал многозначительную паузу, — как скажете. Хозяин — вы.

Будь Залман более внимателен, он мог бы заметить, что Подниекс намеренно выделил последние слова, вкладывая в них явное недовольство и даже скрытую угрозу. Но блуждая в лабиринте проблем и стараясь нащупать выход, доктор многого не замечал в поведении посторонних. А если ощущал беспокойство — отводил глаза. Так было проще и не требовало немедленных действий.

## Глава третья

Гольдштейн вышел на улицу, направляясь домой. Он хотел ещё раз поговорить с Фирой, извиниться, покаяться, сказать, как он её любит, и ещё много-много слов, известных только им обоим, которые они говорили друг другу в минуты особой близости. Стояла прибалтийская весна, было холодно и сыро, но доктор решил сделать круг и прогуляться до портняжной мастерской Нохума Каца, носившей гордое название «ателье». Там лежал его новый прекрасно сшитый костюм. Этот костюм Залман собирался надеть на званый вечер у банкира Розенталя, куда они с Фирой были приглашены. Вообще-то костюм должна была забрать прислуга Марта, но, может быть, она не успела?

— Заодно поговорю со стариком. У него, кажется, сын в Палестине, — решил Гольдштейн, открывая дверь. Вчера, когда он примерял костюм, у него не было времени на разговоры.

Старый портной склонился над пиджаком и не сразу повернул голову.

— Шолем алейхем, реб Нохум! — приветствовал его Залман (старый Кац ходил в ту же синагогу, где молился его отец. Сам доктор был там редким прихожанином) — Стоит только Вас увидеть, и на душе теплее.

— Особенно, когда на дворе холодина, — отшутился Кац. — Алейхем шолем, доктор! Была ваша Марта. Вручил ей заказ. Великолепная вещь, — старик начал хвалить свою работу так, как будто это не Гольдштейн только вчера примерял готовый костюм, а кто-то другой.

— Спасибо, реб Нохум, — искренне сказал Залман. — Вы замечательный мастер. Работы много?

— Слава Богу, достаточно, — отозвался Кац. — Понимаете, дорогой доктор, в двенадцать лет я взял в руки иголку с ниткой, а сейчас мне семьдесят два. Шестьдесят лет за работой. И лучше так, чем с утра до вечера слушать ворчание моей Тойбы. А вообще-то она тоже занята. Внучата, знаете ли...

Гольдштейн усмехнулся. У старика, как и у отца Залмана, были две замужние дочери.

— У Вас, мне помнится, сын в Палестине. Что он пишет?

— Мало пишет. И редко. Сказать правду — до сих пор не знаю, чем мой парень занимается. Здесь он был в Бейтаре<sup>1</sup>, ну, стало быть, и там тоже. Знаете, что он в последнем письме написал? Нохум достал из кармана листок, который, судя по тому, как тот был затёрт, портной показывал всем, кто заходил в мастерскую: «В этой стране каждая арабская деревня стоит на еврейской земле. Арабы заняли наш дом, пока в нём не было хозяина. Они думали, что мы никогда не вернёмся. Но мы возвращаемся и говорим: или живите с нами в мире, или уходите». Просто не верится, что это мой Шмулик-шалопай такие умные слова написал. И вот что я Вам скажу, реб Залман: конечно, Эрец Исроэл для молодых, они должны её строить. И всё-таки, будь у меня возможность, я бы тоже уехал. Только вот капитала у меня нет, а о сертификате могу мечтать, как о звёздочке с неба...

Гольдштейну стало не по себе. Старый портной готов уехать, но у него нет ни денег, ни сертификата. А у него, у доктора Гольдштейна, есть сертификат, который ему не нужен. Как же так? Не совершает ли он роковую ошибку, упорствуя в своём эгоизме? Неожиданно вспомнились слова Подниекса: «Только не всем от этого будет хорошо». Это был явный намёк. Без всякого сомнения, Подниекс имел ввиду, что если Германия оккупирует Латвию, евреям придётся плохо. И не случайно сказал, а намеренно. А потом оскорбился из-за Руты. Ну, конечно! Рута — латышка, а Мара — еврейка. Но разве он, Залман Гольдштейн, в Латвии не свой? Сражался за независимость, знаки отличия имеет, а по-латышски говорит лучше некоторых латышей. Так чего ему опасаться?

Залман шёл домой, погружённый в раздумья. Итак, об увлечении Фиры знают не только все стороны треугольника, но и вездесущий Макс. Это было не самым приятным открытием, но доктор расстроился бы ещё больше, если б узнал, что одним Максом круг посвящённых не ограничивается. В курсе дел подруги была Эмма: отношения Йосэфа и Фиры развивались на её глазах. Знал и муж Эммы Натан,

---

<sup>1</sup> Молодёжная сионистская организация.

только ему, вечно занятому какими-то делами, было не до того, и он через пять минут уже забыл всё, о чём ему с увлечением рассказывала жена. Но любопытная Эмма отслеживала события, и когда Фира на два месяца исчезла из Риги, сразу поняла, что за этим кроется. И о женитьбе Йосэфа, и о том что он уезжает в Палестину, Эмма не замедлила сообщить Фире, в уверенности что та не останется равнодушной. Подруга реагировала слабо, и Эмма разочаровалась, хотя на самом деле её рассказ достиг цели. Фира Залману не лгала: разрыв с Йосэфом, возвращение к мужу, раскаяние — всё было настоящим. Во всяком случае, Фира искренне старалась восстановить прежние отношения, но рана заживала медленно. И когда через день после ссоры с Залманом раздался звонок, и Эмма сказала, что Йосэф оставил у неё послание для Фиры — тоска, вызванная расставанием, снова дала себя знать. В конверте, который передала Эмма, было прощальное письмо.

«Дорогая, любимая Фира — писал Йосэф, — самыми прекрасными в моей жизни были дни проведённые с тобой. О них я буду вспоминать, пока живу, и пока живу — буду оплакивать нашу разлуку. У тебя семья, я тоже не один, и вместе с женой скоро уеду в Страну Израиля. Желая и тебе поскорее туда перебраться, обстановка очень тревожная. И хотя нам не суждено быть вдвоём, мне станет легче от сознания, что ты и твоя семья вне опасности, что вы на еврейской земле, а не в этом городе, где нас ненавидят и раньше или позже могут растерзать. Любовь моя, знай, что я никогда тебя не потревожу и не напомню о себе. У меня замечательная жена, я её очень уважаю, и буду с ней столько, сколько даст Бог. Пожелай же мне счастья, так как я желаю тебе» Дальше шли стихи:

*Мне не расстаться никогда с тобой!  
Любимая! Твои глаза, как море.  
В них отраженье солнца, в них прибой,  
И оправданье — даже в приговоре.  
Ночами ты являешься ко мне,  
И будет век мой долгод или краток,  
Я сохраню в сердечной глубине  
Твоей любви незримый отпечаток.*

*И эти косы, цвета янтаря,  
Пускай на плечи падают волною...  
За всё, за всё судьбу благодаря —  
Благодарю, что ты была со мною!*

Фире было безумно жалко Йосэфа, и, прочитав письмо, она решила, что им нужно встретиться. Обида на Залмана не проходила, словно именно он был виноват в их семейных проблемах. Глупец ревнивый! Один раз, ненадолго, она потеряла голову, и поэтому обязана до сих пор терпеть его выходки? Если её подозревают — пусть будет хотя бы причина! Залман травит ей душу, ставит в такое положение, когда она должна вновь и вновь каяться. Фира перестала чувствовать свою вину, в тот момент у неё не было желания смотреть на себя со стороны. Промелькнула мысль, что они с Йосэфом ещё могут быть вместе. Залман уезжать не хочет, а Йосэф — наоборот: стремится в Палестину. Что-то случилось с Фирой, как будто Йосеф не писал, что уезжает с женой, с которой будет столько, сколько даст им Бог. И Фира, не задумываясь и несмотря на поздний час, перезвонила Эмме и попросила немедленно передать Йосэфу просьбу о встрече. Она не спрашивала, как Эмма сделает это в полночь, но на следующий день Йосэф ждал Фиру у Эммы в то самое время, когда Залман, гуляя по городу, обдумывал своё примирение с женой. Проводив подругу в комнату, Эмма деликатно вышла. Но Эмма не была бы Эммой, если бы, умирая от любопытства, не старалась прислушиваться к доносившимся из-за двери словам:

— Я прощался с тобой, а сам надеялся, что ты отзовёшься. Я это чувствовал, когда писал письмо.

— Ты же видишь — я здесь...

Йосэф приложил палец к губам:

— Только это мне и нужно, Фиреле. Одно твоё слово. Теперь я знаю, что делать. Сегодня же скажу Джуди. И мне всё равно, разгорится или не разгорится скандал. Не его я боюсь, а только одного: что ты, как и в тот раз, передумаешь. Обещай мне, что ты не сделаешь этого. А за детей не беспокойся, любимая! Я разберусь с твоим мужем. У меня отличный адвокат, Макс Лангерман. Он сделает всё, что нужно, и дети уедут с нами. Мне рассказывали про твоего сына, что парень просто бредит Палестиной.

Фира почувствовала какое-то странное неудобство. Йосэф говорил то, что она хотела слышать, но почему-то ей перестало нравиться, то что говорил Йосэф. Фира не понимала в чём дело, ей стало холодно. «Он так уверен, — думала она, — как будто я уже всё решила. Ну, конечно, я же сама к нему прибежала. А ведь он не знает, что Лангерман и Залман — друзья».

— Твой муж, — продолжал Йосэф, — принадлежит к очень распространённому типу евреев. Они не хотят покидать свои уютные гнёзда, не желают чувствовать приближения бури, хотя ветер уже дует им в лицо. И тянут за собой родных и близких, когда на карту поставлена жизнь. Это...

Йосэф говорил что-то ещё, но Фира слушала плохо. «Нам понадобится много мужества и сил, — подумала она, — чтобы преодолеть все препятствия, но не в этом дело. Ну, хорошо, мы, в конце концов уедем, и детей заберём: Йосэф наймёт другого адвоката. А Залман? Что будет с ним?» Фира чувствовала, что её решимость слабеет. Упоминание о Залмане вернуло её ко вчерашнему вечеру, когда она упрекала мужа в отсутствии доверия. Выходит, он был прав? Фиру стал раздражать голос Йосэфа, забывшего для чего они здесь и взявшего тон проповедника, она перестала понимать происходящее, но в какой-то момент ощутила полную ясность. Фира поняла то, что подозревала и раньше: она любит двоих и никогда не будет счастлива с Йосэфом, потому что есть Залман. Если она уедет, а с Залманом что-то случится, как она будет после этого жить? Значит, и к Залману у неё есть чувства. С ним она не испытывала то, что испытала с Йосэфом, но никогда не была к нему равнодушна. Вот почему они с Залманом не могут полностью восстановить прежние отношения: в её сердце всё ещё занимает место Йосэф. Боже, как это тяжело для неё, как мучительно любить двух мужчин! Фира никогда не думала, что такое бывает, но это случилось и случилось именно с ней. Она поняла, что несмотря на все свои обещания не сделала окончательный выбор, и выбирать ей придётся сейчас. «Бежать, бежать немедленно, — не давал покоя внутренний голос, — навсегда расстаться с Йосэфом, и если не получается развязать — тогда собрать все силы и разрубить этот узел, который сама же завязала. А его жена, — подумала Фира, — как он её назвал — Джуди? Она-то в чём виновата? Тоже будет страдать из-за меня? Из-за того что я увела у неё из-под

носа мужа? И как это он говорит: сегодня же скажу Джуди. Неужели всё так просто? Захотел — женился, захотел — объявил, что уходит к другой. Но если для него это просто, то для меня — нет».

Почувствовав что слишком увлёкся, Йосэф замолчал и положил руку на плечо Фиры. Он хотел её обнять, но Фира отстранилась. Ещё секунда — и Фира бросилась вон, поймав удивлённый, непонимающий взгляд Йосэфа и чуть не оглушив стоявшую за дверью Эмму. Она плохо помнила, как добралась домой. То что произошло казалось нереальным, было похоже на тяжёлый, болезненный сон. Оставалось только ущипнуть себя за руку.

Вскоре позвонила Эмма. Она рассказала, что после бегства Фиры Йосэф некоторое время сидел ошеломлённый. Вид у него был, как у банкрота, как у человека, проигравшего состояние, а потом он встал и сказал: «Она права. А я — дурак и ничтожество». Разумеется, Эмма утверждала, что оказалась под дверью совершенно случайно. Но это было последнее, что интересовало Фиру. Она почувствовала облегчение. Значит у них был порыв — последний порыв друг к другу, какое-то недолгое наваждение, и даже если бы они дали волю чувствам, если бы она вовремя не остановилась, всё закончилось бы так же, как началось, только позже и хуже. Хорошо, что Йосэф это понял. Остаётся пожелать ему счастья, как он сам просил. И всё же — как это жутко быть на шаг от пропасти. Она ведь убеждала Залмана, что ей можно верить — и после всех заверений и слёз бросилась к Йосэфу. Но у неё муж и дети, у неё семья, а Йосэф — попутного ветра его кораблю. Она сама скоро приедет в Палестину, но Йосеф, даже если будет рядом, не должен снова войти в её сердце.

За этими размышлениями Залман и застал Фиру. По дороге домой он нашёл гениальный выход. До окончания гимназии Михаэлю остаётся полгода. Он скажет Фире, что мальчик обязательно должен закончить учёбу. Он будет настаивать, и ей придётся согласиться. Ну, а потом видно будет. Нет, он конечно пообещает, что после того как сын сдаст экзамены, они уедут, но необходимо получить отсрочку. Он не готов сейчас ничего решать.

В эту ночь Залман был особенно нежен, и жена отвечала ему тем же. И Залман и Фира — оба словно вернулись во времена их молодости. С доводами мужа Фира согласилась. Она уже боялась настаивать на немедленном отъезде, боялась, что Залман опять её заподозрит, и выдвинула только одно условие: пока Михаэль учится, продать дачу на Взморье, чтобы потом не терять время. Это не совсем совпадало с планами Залмана, но он сделал вид, что уступает, а затем убедил жену, что продавать дачу нужно ближе к лету, когда цены поднимутся. Разговор идёт о нескольких месяцах — разве это срок? Возразить было трудно, и доктор поздравил себя с тем, что добился хотя бы небольшого успеха. Если б только он знал, во что этот успех обойдётся!

А время шло. После того как Гитлер полностью захватил Чехословакию, несколько знакомых Гольдштейна уехали. Ехали кто куда, а некоторым удалось попасть в Палестину. И был среди них, — кто бы мог подумать! — Хона Данилович, живший с большой семьёй в проходном дворе, в двухэтажном деревянном доме. Данилович, бедный еврей, приказчик в бакалейной лавке, которому доктор иногда помогал и даже лечил бесплатно, неожиданно собрал свои немногочисленные вещи. Однажды утром, выйдя на улицу и привычно направляясь в клинику, Гольдштейн увидел всё семейство Даниловичей возле узлов:

— Что случилось, Хона? Переезжаете?

— Уезжаем, господин Гольдштейн! С Божьей помощью, в Эрец Исроэл. Вы уж простите, за этой суматохой не успел вам сообщить. А вчера заходил, да только никого из ваших не было. Ну, раз уж встретились, давайте прощаться. И приблизив лицо, обдавая доктора запахом дешёвой еды, обильно сдобренной чесноком, жарко зашептал: доктор, дорогой, скоро здесь будет геином<sup>1</sup>. Уезжайте и вы, пока ещё можно. Знаете, что сказал Жаботинский польским евреям? «У вас почти не осталось времени, чтобы спастись!».

Гольдштейн не стал спрашивать, кто помог Даниловичу, кто одолжил ему достаточно денег, чтобы обеспечить въезд в Палестину.

---

<sup>1</sup> Ад (*идши*).



Сертификата у него и быть не могло. Он только подумал о том, что у него, у доктора Гольдштейна, есть и деньги и сертификат, а он всё размышляет: ехать или не ехать. «Геином, скоро здесь будет геином!» — повторил он про себя слова Даниловича, и почувствовал беспокойство. Но ведь ничего серьёзного не происходит — тут же начал возражать уверенный внутренний голос. Открой глаза и посмотри! Друзья, знакомые, коллеги — пусть некоторые из них уехали, но большинство никуда не собирается, хотя денег для такого мероприятия у них достаточно. А у других, как и у него самого, сертификат в шкафу лежит. И если кое-кто надумает ехать — это как мелкий камешек, брошенный в воду: волны от него не будет. Если большинство рижских евреев не трогаются с места — они что, все глупцы? Кто стремится уехать? Чаше всего молодые сионисты или такие горемыки, как Данилович. Ему-то что терять? А те, кому есть что терять, пока не спешат. «У вас почти не осталось времени, чтобы спастись!». Паникёры!

В тот же день английский пароход «Манчестер» вышел из устья Даугавы<sup>1</sup>, и, набирая ход, взял курс на Лондон. Темнело. Латвийский берег удалялся быстро, постепенно сливаясь с горизонтом, и Йосэф, стоя на палубе, уже ничего кроме моря и неба не мог увидеть. Рядом с ним, укутавшись пледом, стояла Джуди. Она что-то говорила, но занятый собой Йосэф отвечал невпопад, и жена оставила его в покое, решив, что взволнованный муж сочиняет стихи. Но Йосэф не думал о рифмах. Им овладела тоска. Он думал об отце, с которым расстался тяжело, о брате, в пользу которого отец чуть было не лишил его части наследства — но думал о них с болью и нежностью, словно предчувствуя, что никогда больше не увидит родных. Словно догадываясь, что они не успеют постареть и навсегда останутся такими, какими он запомнил их в минуту прощания. Тяжёлые предчувствия томили Йосэфа, но больше всего он думал о Фире. Какой-то вихрь подхватил его, и он готов был броситься в океан, не заботясь о том, как будет выплывать, а у Фиры хватило ума и воли спасти и себя и его. В тот день, вернувшись домой, он сослался на плохое самочувствие и закрылся в комнате. Джуди думала, что Йосэф пишет, а он не мог смотреть ей в глаза. В том, что он не стал подлецом, никакой его заслуги

---

<sup>1</sup> Западная Двина (лат.).

не было. И Джуди, которая его любила, которая ему доверилась, которая так много сделала для того, чтобы Йосэфа по-настоящему узнали и оценили, — её он готов был предать самым жестоким и циничным образом. Он, Йосэф Цимерман, который всегда считал себя достойным, порядочным человеком. Два года тому назад, встретив Фиру, он ни на чём не настаивал, дал ей возможность самой решать и выбирать: и в тот момент, когда она хотела уйти от мужа, и тогда, когда решила вернуться. А Джуди? Чем она заслужила страдание, которое он собирался ей причинить?

Фира! Через год после того как они расстались, Йосеф снова встретился с ней. Это было в Нью Йорке. Накануне Йосэф познакомился с Джуди, и она повела его в «Метрополитен». Таких огромных музеев он никогда не видел. Войдя в зал европейской живописи, они остановились у картины Россетти «Леди Лилит», и Йосэф решил, что сходит с ума. Он увидел Фиру. Никакого сомнения не было — Фира смотрела на него с полотна. Сходство было потрясающим с той только разницей, что не разрушительная демоническая сила преобладала у настоящей Фиры, а нерастраченная чувственность, которая смогла раскрыться полностью лишь при встрече с ним, с Йосэфом. Он-то знает, что такое быть на седьмом небе: для него и Фиры оно было на расстоянии ладони. А Джуди — она замечательная, славная и привлекательная, у них так много общего, но того, что было с Фирой, у него с Джуди не было и нет. С ней он никогда не достигал тех высот, куда они, теряя всякое ощущение реальности, поднимались с Фирой. И всё равно, как он мог даже думать о том, чтобы уйти от этой невысокой преданной женщины? Йосэф оглянулся. Джуди молча стояла рядом, боясь нарушить, как она полагала, его творческое уединение. Он обнял её за плечи:

— Пойдём, дорогая! Уже ночь. Пойдём в каюту.

Через три дня Йосэф, Джуди и семейство Даниловича, доплывшее до Англии в трюме, сошли на лондонскую пристань, а ещё через неделю другой корабль уже вёз их через беспокойные воды Атлантики к берегам Палестины.

## Глава четвёртая

В июне 39-го Михаэль окончил гимназию, и доктор вспомнил, что одна из первых размолвок с женой произошла у него, когда они обсуждали, в какую школу отдать сына. Фира настаивала на гимназии «Туший», где обучение шло на иврите, а Залман был категорически против. Он хотел, чтобы Михаэль учился на немецком в гимназии «Эзра». Находилась она недалеко — на улице Блауманя. Тогда они серьёзно повздорили, и доктор несколько ночей провёл в кабинете, но Фира не выдержала первой и пошла на компромисс. Михаэля определили в гимназию «Раухваргер», там преподавали на русском и на немецком. К русскому языку у Гольдштейна сантиментов не было, но Фира захотела, чтобы мальчик знал ещё один язык. Пришлось согласиться. Всё это происходило когда-то, а нынешний момент был намного сложнее. Закончилась полученная Залманом у Фире отсрочка, а он так и не принял решение. Солгав Фире, что он уже дал объявление о продаже дачи, доктор чувствовал себя плохо. И жена и сын, которому даже выпускные экзамены не мешали думать о Палестине, ждали теперь от Залмана активных действий, и он понимал, что ситуация накаляется. С Фирой ещё можно было справиться: после женитьбы и отъезда Йосэфа она не хотела конфликтовать — так во всяком случае казалось, а вот Михаэль... Оба, и Залман и Фира, страшно боялись, что мальчик что-нибудь натворит: ведь он угрожал, что уедет один. Правда, ему пока только шестнадцать, но иди знай: сбежать он всё равно может. Слишком самостоятельным себя чувствует. Поразмыслив, доктор понял, что не остаётся ничего другого, как позвонить Лангерману и поручить ему продать их летний дом на станции Дзінтари, но к удивлению Залмана адвоката трудно было поймать. Прошло несколько дней, пока в телефонной трубке не послышался голос Макса:

— Ты что, скрываешься от клиентов? — попытался пошутить Гольдштейн.

Но вопреки обыкновению, Макс на шутку не отреагировал:

— Извини, Залман, — сказал он необычайно серьёзным голосом, — очень занят, времени мало. У тебя что-то срочное?

— Хочу продать дачу. Фира настаивает на отъезде.

Доктор ожидал, что Макс, как всегда засмеётся и начнёт доказывать, что самое умное — сидеть на месте, но адвокат словно задался целью удивлять приятеля и дальше:

— Хорошо, — произнёс он бесстрастным тоном, — у меня уже кое-кто спрашивал. Я с тобой свяжусь.

Озадаченный Залман не сразу положил трубку на рычаг. С Максом явно что-то случилось. Неприятности? Увяз в каком-нибудь деле? Ладно, у ихнего брата, адвоката, чего только не бывает. За дверью ожидали пациенты, и доктор вскоре забыл про Лангермана. Ему нужно было убедить Михаэля и Фиру подождать со сборами в дорогу хотя бы до продажи дачи. Как? А очень просто. Предложить провести остаток лета на Взморье. Последний месяц на даче, а потом... Что будет потом, Залман представлял себе смутно. Он оттягивал отъезд, не решаясь на него, как хирург на рискованную операцию. При этом доктор понимал, что решать придётся всё равно, потому что двигаться одновременно в расходящихся направлениях невозможно. В семье у него опоры нет, с его позицией никто не согласен. Даже Лия, а ей тринадцать, когда Михаэль говорит о Палестине или читает то, что ему пишет Давид, смотрит своему брату в рот. На днях, случайно заглянув в комнату сына, увидел картину: сидят брат и сестра в обнимку, и Михаэль Лие не иначе как про Палестину что-то рассказывает. Он, Залман, конечно счастлив, что у детей такие близкие отношения, но если подумать, что они понимают? В красивой большой квартире, с установленным раз и навсегда разумным распорядком, с книгами, музыкой и вкусной едой, с доброй Мартой, которая не знает, как им угодить, с летним отдыхом в сосновом лесу у моря, с коньками и лыжами зимой. Неужели его наивные дети думают, что у них и там всё это будет? А кто виноват? Конечно, Фирин брат Давид Зильберман, который в Палестине изменил свою фамилию и стал каким-то Каспи<sup>1</sup>. Господи, у них там даже иврит не такой. Недавно дедушка, реб Исроэл, решил поговорить с внуком на «лóйшен кóйдеш»<sup>2</sup>, так они друг друга не поняли. Старик не на шутку вспылил: заявил, что

<sup>1</sup> Зильберман — серебряный (*идиш*). Каспи — то же на иврите.

<sup>2</sup> «Святой язык» — диалект иврита, на котором молились европейские евреи.

сионисты идишкайт<sup>1</sup> за ненадобностью выбросили, что их цель — на Святой земле из евреев гойскую<sup>2</sup> нацию создать. И конечно, набросился на Залмана, а он-то в чём виноват? Что ему делать — от семьи отказаться? А шурин, — мысли Залмана снова вернулись к Давиду, — катастрофой пугает, смертью. Думает, что если там, в своём захолустье, занимает какую-то должность в туземной администрации, так всю мировую ситуацию, как на ладони видит. А на самом деле, дальше Средиземного моря не видит ничего.

Пытаясь отделаться от невесёлых мыслей, Гольдштейн решил взять отпуск. Нервы не выдерживали. Одни лишь разборки с Фирой полжизни отняли, а тут ещё сертификат, Палестина. Никуда она не убежит. Отдохнуть когда-нибудь тоже надо.

Но даже взяв отпуск, Гольдштейн чуть ли не через день появлялся в клинике, и однажды в его кабинете раздался звонок. Незнакомый мужской голос сообщал по-латышски, что некий солидный господин хотел бы посмотреть дачу. Доктор ответил, что продажей дачи занимается адвокат Лангерман.

— Адвокат Ракстыньш, — извинившись, представился голос. — Ёвар Ракстыньш. С 1-го августа все дела адвоката Лангермана находятся у меня. Господин Гольдштейн, что мне ответить клиенту?

Ошарашенный Залман молчал. И только после длительной паузы, сообщив Ракстыньшу адрес и время встречи, спросил у адвоката:

— Что случилось, господин Ракстыньш? Где Макс?

— Я надеюсь, он уже добрался до Лондона, — невозмутимо ответил Ракстыньш. — А вообще-то Макс Лангерман четыре дня тому назад уехал в Америку. Господин Гольдштейн, насколько я понял, вы тоже собираетесь уезжать. Если нужно — я к вашим услугам. Можете не сомневаться: я проработал с Лангерманом несколько лет, и такие, как вы, уезжающие, на особом положении в моей конторе. У меня для вас всегда зелёный свет.

Ракстыньш произнёс эти слова так, чтобы человек на другом конце телефонного провода понял их многозначительность, но доктор

<sup>1</sup> Еврейская суть (*идиш*).

<sup>2</sup> Нееврейскую. Гой — на иврите «народ». У евреев Восточной Европы это слово обозначало исключительно неевреев.

думал о другом. Положив телефонную трубку, он долго сидел неподвижно. Лангерман! Лангерман уехал в Америку! И не сказал ему ни слова. Очень на него похоже. Так вот почему Макса трудно было заставить, вот почему он так странно себя вёл, когда Залман просил его дать объявление. Делал вид, что по горло занят, а сам сдавал дела Ракстыньшу. И если Лангерман молчал о своём отъезде — причина была. Он никогда и ничего не делал зря. Но если этот Макс, который всех уверял, что уезжать не надо, неожиданно сам уехал — что же всё-таки происходит?

Ответ пришёл через несколько дней: Германия напала на Польшу. Началась мировая война, но в те дни ещё не все это поняли. Не понял и Залман, но зато он понял другое: начавшаяся война меняет дело. Плыть по морю опасно, сообщают, что немецкие субмарины угрожают английским кораблям. А сухопутный путь до портов на Средиземном море в условиях военных действий связан с ещё большим риском. Во всяком случае именно так нужно объяснять Фире, и никакого лукавства здесь нет. А Михаэля надо чем-то занять. Он, по примеру отца, мечтает о медицинском, хочет учиться в Палестине, в Еврейском университете. Ну, с Палестиной придётся подождать, а в Латвии действительно очень сложно: процентная норма, и на медицинский евреев почти не принимают. Даже он, доктор Гольдштейн, вряд ли сможет помочь. Раньше учились за границей, а сейчас дорога закрыта. Так что же делать? А вот что: взять Михаэля пока к себе. Поработает у отца, присмотрится, а там... Что будет «там» доктор не знал, но он надеялся, что сможет убедить Фиру не трогаться с места. Должна же она понять, что в Европе воюют!

Только убедить Фиру не удавалось. И не потому что Залман не прилагал усилий. Все методы воздействия были испробованы, но Фира не поддавалась, и демонстрировала такое упорство, какого доктор никогда раньше за ней не замечал. Она ясно давала понять, что компромисса больше не будет. Гольдштейн готовился к решающему разговору. Он ждал подходящего момента, и когда ему показалось, что сопротивление Фиры слабеет, решил пойти на приступ.

Поздний октябрьский вечер напоминал о себе мелким дождём, который не прекращался с утра, и, похоже, готовился даже завтра накрапывать на рижские мостовые. В гостиной было полутемно: Фира

не любила по вечерам яркий свет. Дома было так уютно и тепло, как бывает лишь тогда, когда за окном плохая погода. Залман, делая вид, что занят в своём кабинете, ещё раз обдумывал разговор. Выждав некоторое время, он открыл дверь: Фира сидела в кресле. Доктор готовился произнести первое слово, но жена опередила его:

— Ты сегодняшнюю газету видел?

Гольдштейн читал только одну газету, самую главную в Латвии: «Яунакас зиняс»<sup>1</sup>.

— Нет ещё, дорогая. Я...

Но Фира не дала ему договорить:

— Заключён договор с Россией. Скоро здесь будет Красная армия.

— С чего ты взяла?

— Советский Союз получил право иметь в Латвии свои военные базы, — кивком головы Фира показала на лежащую на столе газету.

Доктор всегда удивлялся своей жене. Любовь к музыке и поэзии странным образом сочеталась у мечтательной Фиры с рационализмом и живым интересом к политике.

— Это значит, — продолжала Фира, не дожидаясь ответа Залмана, — что русские готовятся захватить Латвию. Может быть ты объяснишь мне, наконец, так, чтобы и я поняла: чего мы ждём?

Тон, которым была сказана последняя фраза, не оставлял сомнений: планы Гольдштейна рушатся. Фира настроена решительно, и уговаривать её ничего не предпринимать, означает нарваться на крупную ссору с непредсказуемыми последствиями. А кроме того — что если Фира и в самом деле права? Придут Советы, и закончится эта жизнь, за которую он так цепляется. Тогда вся Латвия станет одним большим лагерем, вроде тех лагерей, которых полно у большевиков. И доктор постарался ответить как можно мягче:

— Мы ничего не ждём, дорогая. Завтра же начнём собираться. Подниекс возьмёт мою клинику. Он будет спорить из-за каждого лата<sup>2</sup>, я этого скупердяя знаю, но, в конце концов, договоримся.

— Ты мне уже обещал это, Зяма! После каждого обещания ты начинаешь, или делаешь вид, что начинаешь, а потом каким-то странным образом сворачиваешь свою деятельность! Когда ты уже поймёшь: положение опасное, а ты играешь с ним, как ребёнок с бомбой!

<sup>1</sup> «Свежие Новости» (лат.).

<sup>2</sup> Национальная денежная единица в независимой Латвии.

Твоя нерешительность с ума сводит! Неужели тебе не ясно, что нет у нас времени! Нет! Нет!!

Фира нервничала всё больше, и Залман испугался: раньше его жена так себя не вела. А если она и вправду чувствует то, что он почувствовать не может? Сбегав за лекарством и заставив Фиру принять успокоительное, Залман поклялся, что через месяц, самое позднее два, они уедут.

Но доктор Гольдштейн недооценил своего коллегу и работника Подниекса. Нутром почувствовав, что времени у Залмана немного, Подниекс выставил свои условия и категорически заявил, что не даст за клинику ни на один лат больше. Сумма была почти вдвое меньше чем та, которую запрашивал Гольдштейн. С этим он не мог согласиться, но Фира потребовала перестать торговаться и немедленно завершить сделку. Она всё больше и больше вмешивалась в дела мужа, пыталась диктовать и каждый день требовала отчёта. Это задевало самолюбие доктора, жену следовало поставить на место, и большой скандал уже был на пороге, когда реб Исроэлу стало плохо. Залман ничего не говорил отцу об отъезде, решил не волновать и сказать позже, но тот каким-то образом узнал и расстроился. Осмотрев старика, доктор помрачнел. Папа давно страдал от грудной жабы, но положение было стабильным, а сейчас оно осложнилось. Зато реб Исроэл был в своём репертуаре. Схватив сына за руку, он слабым голосом начал рассказывать, какие усилия приложил главный латвийский еврей Мордехай Дубин<sup>1</sup>, чтобы убедить правительство не пускать в страну сионистского вождя Владимира Жаботинского. Жаботинский собирался выступить перед евреями Риги, чтобы призвать их покинуть Латвию пока не поздно. Отец перевозносил Дубина и ругал Жаботинского-смутьяна.

Несмотря на то что доктор делал всё возможное, реб Исроэл с каждым днём чувствовал себя хуже. Теперь он находился в больнице, куда Залман был вынужден заглядывать ежедневно. Фира притихла. Всем было ясно, что сейчас они уехать не могут. Как врач, Залман понимал, что отцу осталось немного, знал, что ничем не может помочь, но, как преданный сын, сидел у отцовской постели.

<sup>1</sup> Неизменный глава партии «Агудэс Исроэл» и еврейской общины Латвии в 20-30-е гг. прошлого века.



Через два месяца реб Исроэл скончался. Похоронив отца и отсидев «ші́ву»<sup>1</sup>, Залман сказал Фире, что после «шлóшим»<sup>2</sup> они уезжают. Он и сам не хотел больше тянуть. Вероятность появления в Латвии сталинских дивизий превратилась в реальность. На основании «договора о дружбе» русские ввели в страну воинский контингент, и Залману пришлось самому убедиться, насколько права была Фира. Наконец-то и ему стало очевидно то, на чём его жена настаивала целый год. Доктор больше не возражал против активного участия Фиры в подготовке отъезда: теперь он сам, по собственной инициативе, отчитывался перед ней. Казалось, им сопутствует удача: несмотря на категоричность Подникса, Гольдштейну удалось договориться с ним о приемлемой цене. Адвокат Ракстыньш уже начал оформлять договор, когда не замедлило заявить о себе новое несчастье: поскользнувшись в непогоду на улице, сломала бедро мать Фиры. Уже восемь лет овдовевшая госпожа Фейга жила одна, и хотя кроме дочери у неё никого в Риге не было, ни о какой Палестине она не хотела слышать и отказывалась уезжать вместе с Гольдштейнами. В случае отъезда Фиры мама собиралась переехать в Каунас, где находилась старшая дочь Дина. Муж Дины, человек состоятельный, но грубоватый, умел устраивать дела и пользовался известностью в городе. А пока вся забота о теще легла на плечи Залмана. Ситуация была серьёзной, стало ясно, что госпожа Фейга пробудет в больнице долго, да и потом не сможет передвигаться самостоятельно. На этот раз уже Фира сказала, что отъезд придётся отложить. Сказала с болью, глядя на Залмана с упрёком:

— Похоже, ты добился того, чего хотел, Зяма.

— Что я хотел? Чтобы твоя мама сломала ногу? Благодаря мне она имеет в больнице самый лучший уход.

— Я о другом. И не делай вид, что ты не понимаешь. Если бы не твои трусость и нерешительность, если бы не твоя ложь, мы давно бы уже были в Палестине.

— Когда я, по-твоему, лгал?

— Когда водил меня за нос. Я-то верила, что ты действительно занимаешься делами, а ты и не думал.

---

<sup>1</sup> Семь первых дней траура по покойному.

<sup>2</sup> Траурный период, который заканчивается на 30-й день после похорон.

— Я хотел...

— Вот я и говорю: ты добился того, чего хотел.

— Ты считаешь, что я должен был бросить умирающего отца? Или, по-твоему, мы должны бросить твою маму?

— Я считаю, что мы должны были уехать раньше, ты и сам теперь это понимаешь. В таком случае мы не оставили бы родителей одних, потому что у них есть другие дети, которые, как и они, нигде не собираются. Я знаю, что если уеду, никогда больше не увижу маму, а она, ты думаешь, этого не понимает? Но у неё есть Дина, и мама уже готовилась к ней переехать, когда случилась беда. А Давид сколько маму уговаривал? Только она ни за что: здесь родилась, здесь и умру. И твой покойный папа вёл себя так же. Как бы ни были нам дороги близкие, у нас своя жизнь, Залман. Мы должны уехать отсюда как можно скорее. Хотя бы ради детей. Будем с мамой, пока за ней не приедет Дина.

Фира ожидала приезда сестры со дня на день, но проходили недели, а Дина не появлялась. Фира подозревала, что причина не в Дине, а в её муже. Господин Айзексон и прежде не проявлял горячих родственных чувств, и сейчас не собирался этого делать.

— Твоя сестричка хочет спихнуть свою ношу на нас, — заявил он жене, — только я не готов к тому, чтобы твои родственники за наш счёт решали свои проблемы. Мы будем возиться с твоей больной матерью, а они, как свободные пташки — на все четыре стороны. Что им так приспичило? Это всё твой братец, он и на тебя пытался повлиять. Но ты умница, ни о какой Палестине даже не заикалась. Ведь знаешь: где сядешь на меня — там и слезешь.

— У них проблемы, Юда, — оправдывалась Дина. — Они уже всё распродали. — Муж Фиры свою клинику продал. Не забывай, это моя родная сестра. Мы должны им помочь. А вопрос с мамой, мне кажется, давно решён. Мы же договорились с тобой, что если Фира уедет, мама переедет к нам. Что-то изменилось?

— Когда мы об этом говорили, твоя матушка была здорова, а теперь я её, больную, должен взять на свою шею! Сделать из нашего дома амбулаторию! Если бы из всех родственников оставались только мы, я бы не сказал ни слова. Но почему я должен отдуваться, когда твоя сестра в Риге? Ничего у них не скиснет, пусть за-

держат отъезд! Твоя мама должна быть в таком состоянии, чтобы я мог договориться о её пребывании в приюте для престарелых. Обещаю тебе, что всё устрою и обеспечу ей там самые лучшие условия. Но сестрице твоей придётся подождать, пока выпишут мать из больницы. Тогда мы её заберём.

— Хорошо, — спокойно сказала Дина. — Только заберём её к нам.  
— Что?

— А то. Иначе все евреи Каунаса узнают, что Юда Айзексон отказался взять в свой двухэтажный особняк больную мать жены. В приют для престарелых отправил. Ты ведь дорожишь своей репутацией, не так ли? Так я постараюсь её немного подпортить. Ты меня знаешь.

Это была не напрасная угроза. Свою жену Юда знал прекрасно. Она редко повышала голос, но иногда спокойно сказанные ею слова могли быть хуже громкого скандала. Понимая, что продолжение спора грозит ему многими неприятностями, господин Айзексон махнул рукой и вышел из комнаты.

Дина хотела помочь сестре, но не зная, как лучше это сделать, сказала мужу неправду. Гольдштейн не продал клинику, в последний момент остановив сделку. Это вызвало недобрую реакцию Подникса. Он по-прежнему был корректен и исполнительен, но Залман чувствовал, что Густав затаил злобу. Самому доктору тоже не нравилась эта ситуация. Но больше всего ему не нравилось то, что они повисли между землёй и небом. А тут ещё Дина сообщила, что приедет, когда маму выпишут из больницы. До этого было далеко, но Юда ни за что не хотел забирать тещу. В Каунасе больница ничуть не лучше, а хлопот с таким переездом куча. Пусть хотя бы сядет в инвалидное кресло.

В инвалидное кресло мать Фиры пересела только через три месяца. 12 июня 1940 года, забрав с собой маму, Дина и Юда отбыли из Риги в Каунас, а через четыре дня Красная армия вошла в Литву. И уже на следующий день советские танки корежили гусеницами улицы Риги. Ворота, через которые лежал путь на свободу, захлопнулись со страшным лязгом, не давая никому опомниться и что-то понять.

## Глава пятая

Июньским утром 1940 года Йосэф Цимерман сидел в кабинете заведующего литературным отделом газеты «Давар» на тель-авивской улице Шенкин и чувствовал себя не очень уютно. «Давар» — официальный орган сионистского рабочего движения охотно печатал стихи Йосэфа, пока он не принёс в редакцию своё последнее стихотворение «Правда одна». Стихотворение не понравилось, и заведующий литературным отделом Моше Бейлин не стал скрывать своего отношения:

— Не могу понять, дорогой Йосеф, чего тебе не хватает. Публикуем тебя, свою колонку имеешь, а пишешь такое... Моше поднёс листок прямо к очкам. В последнее время он стал хуже видеть:

*В уме у вас цифры, надои киббуцных коров.  
В пути вам не светит сиянье Давидова царства.  
В парадных речах, в сочетаньях безжизненных слов  
находите вы утешенье своё и лекарство.*

*Где ваше стремленье, где вечная с родиной связь,  
когда, невзирая на павших, бежите вы мимо,  
когда, Иудеей торгуя, меняете вы, торопясь,  
на дюны приморские стены Иерусалима?*

*Ваш тлеющий уголь одинокая искра огня  
напрасно старается снова раздуть пожара.  
Бредёте, как старцы, ногами едва семена,  
и уши не слышат призывные звуки шофара<sup>1</sup>.*

*У вас не дубы, а кусты полевые растут.  
Под своды небес не взлетает ваш дух приземлённый.  
И новый стоит истукан под названием труд  
в рабочем картузе у вас вместо царской короны.*

---

<sup>1</sup> Рог для ритуального трубления.

*Из мест обитания ваших Гора<sup>1</sup> не видна.  
Мечту подстрелили у вас, будто птицу в полёте.  
И правда к вам в дверь не войдёт, ибо правда одна,  
и ей не пристало ютиться и зябнуть в болоте.*

*Тускнеют у вас золотистые нити канвы,  
которую бархат священных завес отторочен.  
И в гордости вашей бездумно отбросили вы  
сокровище древнее в пыль придорожных обочин.*

*И если в отстроенном заново доме у вас  
погаснет свеча, что отцы зажигали упрямо,  
что миру покажете, братья? Фальшивый алмаз  
из лавки старьёвщика, найденный там среди хлама?*

*Тогда разметут вас опять по просторам Земли  
искать в ней осколки разбитых скрижалей Синая,  
за то что под спудом чужого добра погребли  
вы правду свою, ей цены настоящей не зная.*

Закончив чтение, Моше поднял голову и посмотрел на Йосефа так, словно видел его впервые:

— Я был уверен, что ты — сионист. А ты оплакиваешь наследие галута<sup>2</sup>, от которого надо избавиться, если мы хотим из старой глины вылепить новый народ, создать современное общество. Нам надо отбросить всё, что напоминает изгнание, всё, что говорит о нашей печальной участи народа-изгоя. Именно в таком духе мы воспитываем молодёжь. Она презирует то, за что цеплялся вечный скиталец, гонимый еврей, а ты это воспеваешь. Короче, Йосеф, я тебя уважаю и как поэта ценю, но такие стихи печатать не стану. Ну, сам посмотри, что ты пишешь: «Иудеям торгуя, меняете вы, торопясь, на дюны приморские скалы Иерусалима». Или вот: «И новый стоит истукан под названием труд в рабочем картузе у вас вместо царской короны». Откуда такое презрение к тем, кто строит эту страну?

— Я говорю не о рабочих, а о том, что идол социализма заменил вам наследие предков, вытеснил национальную идею. Что мы здесь

<sup>1</sup> Гора, на которой стоял разрушенный римлянами Иерусалимский Храм.

<sup>2</sup> Изгнание, рассеяние (*увр.*).

построим, какое общество, если прервётся коллективная народная память, если два тысячелетия между катастрофой Храма и Базельским конгрессом<sup>1</sup> выпадут из сознания молодых? Что вы хотите создать, какой новый народ? Без прошлого, без истории? Тель Авив строится, а Иерусалим? Забыт и заброшен?

Моше покачал головой:

— Я думал, что Ури Цви Гринберг<sup>2</sup> у нас один, а их, оказывается, двое. Это уже много. Остынь. Ты недавно в стране, не всё понимаешь. Идеализм у тебя, романтика в голове. У вас, поэтов, всё просто, а мы здесь фундамент закладываем. Царство Давида, — он усмехнулся, — до него, как до звёзд: световые годы. Да, ты прав, мечты у нас мало, потому что мечтать нам некогда. Если бы мы только мечтали — здесь бы ничего не было вообще.

— Если так будет продолжаться, то через поколение молодёжь станет спрашивать отцов, какой был смысл в создании еврейского государства, — не уступал Йосэф. — Не зная истории нашей борьбы и страданий в рассеянии, не понимая, в чём заключался ужас изгнания, а самое главное, не умея обосновать наше право на эту землю, молодые перестанут понимать, зачем они здесь. Знаешь, я и сам перестану скоро понимать, что здесь происходит. Только ревизионисты могут внятно сказать, каковы наши цели. А от вас не дождётся.

— Ревизионисты — это еврейские фашисты, Йосэф! — повысив голос, строго сказал Моше. — Неужели тебе близки фашистские взгляды?! Впрочем, такие стихи, — он потряс зажатым в руке листком, — наводят на мысль. Но я-то знаю, кто тебя настраивает. Видел статьи твоей Джуди. По сравнению с ней Жаботинский — голубь.

Йосэф встал со стула. Он хотел ответить, поставить Моше на место, но внезапно понял, что это бессмысленно. Уже у двери завил окликнул его. Йосэф обернулся. Моше протягивал ему газету:

— Возьми свежий номер. Может, поумнеешь немного.

---

<sup>1</sup> Учредительный конгресс сионистского движения, состоявшийся в 1897г. в Базеле (Швейцария).

<sup>2</sup> Выдающийся еврейский поэт. Разочаровавшись в социалистическом сионизме, стал его непримиримым оппонентом.

С газетой в руках Йосэф вышел на улицу. Жаркий тель-авивский день начинался, и уже в десять утра солнце палило неимоверно. Нужно было куда-то себя девать, Джуди работала дома, и Йосэф не хотел ей мешать. Он пошёл в кафе «Арарат» на улице Бен Йегуда. Вообще-то кафе называлось «Эдельсон», но поэту Аврааму Шлёнскому это название не понравилось, и он придумал «Арарат». Под этим именем кафе было известно всей тель-авивской богеме, и завсегдатаи шутили, что «Арарат» — это аббревиатура ивритских слов «ані роцэ рак тэй — я хочу только чай». Такая шутка говорила о более чем скромном материальном положении, но Йосэф имел возможность угощать обедневших литераторов и таким образом заводить связи. Он ещё не знал, что конфликт с редакцией одной из самых важных газет Ишува приведёт к далеко идущим последствиям, и что скоро не Шлёнский и тель-авивские писатели, а совсем другие люди будут в числе его друзей и знакомых.

Шлёнского в кафе не оказалось, зато у окна сидел Йонатан Ратош, поэт и, как говорила Джуди, в недавнем прошлом один из главных радикалов в Новой сионистской организации ревизионистов. Даже Жаботинский осуждал его крайние взгляды. Джуди хорошо знала Ратоша ещё по временам совместной работы в ревизионистской печати и однажды познакомила с ним Йосэфа. Тогда они не смогли поговорить, Ратош куда-то торопился, а сейчас, скучая в одиночестве, он сам пригласил Йосэфа за свой стол. После обмена приветствиями и ничего не значащими обиходными фразами Ратош неожиданно сказал:

— Я вижу, ты чем-то расстроен. Случилось что-нибудь?

Йосэф пересказал разговор с Моше, добавив к нему свой комментарий.

Ратош на какое-то время задумался. Потом произнёс:

— Неужели ты серьёзно полагаешь, что нам следует держаться нашего тошнотворного галутного прошлого, о котором мы стремимся забыть? Но если так — что мы делаем здесь? Если будем тосковать о нашей рухляди, нам никогда не создать новую нацию.

— Вот и Моше о том же. О новой нации. Но нельзя же выплеснуть с водой ребёнка. Если ничего еврейского у нас не останется, кем мы станем тогда? Если вырвем корни из питавшей нас почвы — погибнем.

— А не думаешь ли ты, что так и должно быть? Что надо начинать с новой страницы, искать наши корни в древних цивилизациях Востока и прежде всего — в ханаанской цивилизации? Или мы и сюда должны тащить Хаима из Шепетовки? Ты откуда родом, Йосэф?

— Из Риги, — почему-то слукавил Йосэф, хотя родился в Двинске.

— Тогда понятно. Ты, как видно, местечкового быта не знаешь, — продолжал Ратош пока ещё спокойно, но уже начиная волноваться, — потому и говоришь о выплеснутом с водой ребёнке. А я тебе вот что скажу: не только можно, а просто необходимо выплеснуть! Кого ты хочешь здесь увидеть?! Еврея в чёрном лапсердаке?! От этих евреев нужно отмежеваться. От них, и от всей диаспоры, которую называют еврейским народом. Но разве это народ? Это растворённые в других народах исповедующие иудаизм группы. Настоящий народ ещё будет воссоздан в этой стране, подлинное название которой Земля Ханаана. Его основой станет единый язык, и мы будем называться «иврём», ибо мы — потомки древних ивритян: ханаанских племён, говоривших на иврите. Этот язык объединит всех жителей страны, независимо от происхождения и религии. Он и ближневосточная языческая культура должны лечь в основание новой нации!

— А еврейская традиция? Еврейская культура?

— От них нам нужно избавиться! Самым решительным образом! Отделиться полностью, вытравить из души и сердца. Мы были свободным народом, вольными ханаанёянами, пока нам не навязали угрюмую веру монотеистического иудаизма!

— А разве наши социалисты не делают то же самое? Не отвергают культуру диаспоры?

— С одной стороны похоже. Но знаешь в чём принципиальная разница? Они не отделили себя полностью от евреев, не избавились от еврейской идентичности. И то же самое ревизионисты, в которых я полностью разочаровался. Не понимают и те и другие, что прежде чем строить новое, надо старое полностью сломать. Если мы хотим вернуться к нашим древностям, стать ивритянами, то иудейская традиция — наш враг!

Домой Йосэф явился под вечер. Голова гудела. Он волновался, как воспримет события Джуди, но жена без лишних эмоций выслушала его рассказ. Оба понимали, что если Йосэф не изменит позицию и не вернётся к идеологическим установкам Рабочей партии, его



литературная карьера пострадает. Это не грозило материальными затруднениями, но под угрозой были публикации. Джуди работала для «Палестайн пост» и сотрудничала с американскими изданиями, а Йосэфу было сложнее. Идиш остался в прошлом, в Палестине его презирали, а сам Йосэф настолько вжился в иврит, что не только стал писать, но и думать старался на этом языке. Теперь он — ивритский поэт, а печататься где, если монополия у социалистов? Есть газета «Гаарэц», но при новом владельце Гершоме Шокене она всё больше напоминает либеральные еврейские газеты Америки и Европы. Там ещё меньше шансов опубликоваться, чем у Моше. Йосэф нервничал, но чем больше он беспокоился, тем спокойнее становилась Джуди. В отличие от мужа, ей было ясно, что нужно делать. Йосэф на правильном пути, но он должен занять более чёткую позицию, должен заявить о себе как национальный поэт. И она ему поможет. Как помогала пережить возникавшие перед ним проблемы. Как помогала, просяживая с ним ночи и дни, овладеть палестинским ивритом. И вот результат: Йосэф написал замечательные стихи. Таких стихов должно быть много.

Задумавшись, она не сразу услышала, что Йосэф сменил тему и рассказывает про Ратоша. Но умной Джуди достаточно было пару минут, чтобы ухватить суть:

— Уриэль, — Джуди назвала Ратоша его настоящим именем, — опасный ренегат, хотя поэт он талантливый. Не знала я, что он настолько изменился. Таким горячим евреем был, только и говорил о том, что надо сражаться против предавшей нас Британии, с оружием в руках освободить страну. И вот куда докатился. Его идеи безумны, но проблема в том, что часть интеллектуалов и молодёжи к нему прислушивается. Особенно те, у которых, как и у самого Ратоша, иврит — родной язык. Разве не заманчиво: найти лазейку и отделиться от тех, кого преследуют и уничтожают? Нужно противостоять этой антиеврейской идеологии, и твои последние стихи — это как раз то, что требуется.

Она улыбнулась мужу и встала:

— Всё будет хорошо, Йоси. А сейчас — давай пойдём к морю.

Уже выходя из комнаты, Йосэф вспомнил о газете и бросил взгляд на первую страницу. В сводке международных новостей главным событием был разгром Франции, и только в конце полосы шли сообщения об оккупации советскими войсками Прибалтики. «Вот и всё, — подумал Йосэф, — это случилось. А с Фирой что? Уехала, нет? Если б они приехали сюда, он бы знал наверняка: Ишув маленький. Значит, осталась там. Бедная Фира!».

## Глава шестая

Йосэф оказался прав: Гольдштейны застряли и могли только сожалеть об ошибках и упущенных возможностях. Но до полного вхождения Латвии в состав СССР оставалось полтора месяца, и хотя границы закрылись, существовал ещё шанс, за который можно было ухватиться. В Каунасе сидел японский консул господин Сугихара. Его полномочия распространялись и на Ригу. В июле иностранных дипломатов выслали, но Сугихаре каким-то образом удалось договориться с советскими властями, и до конца августа он выдавал евреям японские транзитные визы. Ни Залман, ни Фира об этом не знали, но Юда Айзексон знал. Он и сам бы воспользовался этим каналом, состряпал бы нужные документы, но как он мог двинуться на край света, когда тёща в таком состоянии? Они с Диной и так намучились с ней, пока доставили из Риги домой. Юда злился на родственников жены, навязавших ему большую старуху. И однажды, уже в конце лета, всердцах сказал Дине:

— Это из-за твоей сестрицы и вашей матушки мы застряли здесь! Дина удивлённо посмотрела на мужа:

— Разве мы говорили о том, чтобы уехать? И как? Границы закрыты.

— А разве есть о чём говорить? Я точно знаю, что японский консул в Прибалтике, который сейчас находится в Каунасе, пока ещё выдаёт транзитные визы. И что с того? Как мы можем добраться до Японии? Из Риги до Каунаса еле добрались.

Дина ахнула:

— Ты знал и молчал?!

— Вот я и говорю: из-за твоей мамочки...

— Какой же ты негодяй! Ты сказал: консул в Прибалтике?! А Фира?! Ведь у них на руках сертификат, а они ничего не знают! Значит, теперь ты хочешь уехать?! А когда мой брат об этом писал, ты смеялся и говорил, что Литва — самое спокойное место на свете! А я, корова, смотрела тебе в рот!

Айзексон понял свою оплошность. Зачем упомянул Прибалтику? Надо было сказать — консул в Литве. Мало неприятностей, так ещё семейная ссора. Негодяем он себя не считал: как тут думать о родственниках, да ещё жены, когда собственная жизнь рушится? И хотя Дина немедленно сообщила сестре, время было упущено. Через несколько дней японский консул покинул Литву.

Залман ожидал, что Фира всю ответственность за несостоявшийся отъезд возложит на него. Он готовил оправдания, но, зная темперамент Фиры, не был уверен, что это поможет. Доктор и сам понимал, что виноват. Его нерешительность и конформизм, стремление к удобствам и нежелание менять устоявшийся образ жизни, привели к тому, что они остались в Латвии. А Макс, — Гольдштейн опять вспомнил Лангермана, — всё сделал вовремя и даже имел латыша-компаньона, которому передал свою контору. Не безвозмездно, разумеется. Умный Макс точно знал, чего он хочет и как надо действовать. В отличие от доктора Гольдштейна.

К удивлению Залмана, Фира не стала устраивать сцену. Сложившееся положение требовало от них крепче держаться друг за друга. Нужно было как-то жить и по возможности приспособляться к изменившимся условиям. И всё-таки вина лежала на докторе, и он ощущал её тяжесть. Почти ежедневно он укорял себя за малодушие и недалёковидность. Теперь он понимал, что сразу после получения сертификата надо было немедленно собираться. Это он, Залман, придумал трюк с гимназией и уговорил, почти заставил жену согласиться. Фира молчала, и её молчание угнетало Гольдштейна. Внешне могло показаться, что ничего не изменилось, но доктор чувствовал, что жена отдалилась от него и та близость, которую не так давно с трудом удалось восстановить, снова исчезла. Залман понимал, что Фира близка к отчаянию, и что он довёл её до этого.

А для самого Залмана советская власть по-настоящему началось с национализации клиники, и теперь доктор Подниекс был счастлив, что не стал её владельцем. Понимая, что его заслуги здесь нет, он не переставал мысленно называть себя идиотом. Где была его голова? В такое опасное и сложное время, когда большевики на пороге,

затеял покупку клиники! Пошёл на поводу у еврея. Хорошо, что Гольдштейн струсил, а он, дурак, ещё переживал по этому поводу. Недоумок! Был бы сейчас без клиники и без денег. Хорошо-то хорошо, а кто будет платить ему зарплату, которую он получал у Гольдштейна? А главное — кто станет заведующим этой, как её теперь называют, амбулаторией? Уж не он ли, доктор Подниекс? А почему бы и нет? Ведь он был рядовым врачом, а этот жид — хозяином. И теперь, по их большевистским правилам, хозяина надо отправить подалее, а его — подвергавшегося эксплуатации честного труженика назначить руководителем. Вот так!

Но вопреки ожиданиям Подниекса и к огромному его изумлению заведовать 4-й городской амбулаторией назначили Залмана. Благодаря стараниям медсестры Мары доктор Гольдштейн не только избежал возможных неприятностей, но и стал начальником. Откуда мог знать Подниекс, что эта еврейка, появлению которой в клинике он противился, но вынужден был помалкивать — жена коммуниста-политзаключённого, при советской власти занявшего какую-то важную должность? Получив сообщение о том, что у него отнимают клинику, Гольдштейн позвал Мару:

— Ну вот и всё, Мара. По всей вероятности, мы с вами скоро расстанемся.

Мара внимательно прочитала документ:

— Но речь идёт о национализации клиники, а не о вас лично.

— И вы думаете, что они меня здесь оставят?

— Конечно! Вы же замечательный доктор!

— Боюсь, для них не это главное.

Мара призадумалась:

— Не отчаивайтесь. Я поговорю с Пинхусом.

Вечером, уложив спать семилетнюю Розу, Мара вошла в кабинет мужа. Пинхус работал за письменным столом, и Мара подумала о том, что только сейчас они по-настоящему вместе. Пинхус и до того как уехал воевать в Испанию скитался по тюрьмам, а когда вернулся — его посадили снова. На свободу он вышел в июне 40-го. Но Пинхус сидел вместе с Яном Калнберзином, который стал Первым секретарём ЦК Компартии Латвии, главным в республике

человеком. И теперь муж Мары, сделавшийся Петром, работал в аппарате Калнберзина. В отличие от Подниекса, Залман с самого начала был осведомлён, что Пинхус сидит, но это его не остановило. С Марой он познакомился давно, консультируя в больнице «Бикур Холим»: по его мнению, она была там лучшей медсестрой. И когда Мару уволили из больницы — боялись держать неблагонадёжную — её взял к себе доктор Гольдштейн. Для этого нужно было иметь известное мужество.

Обняв Пинхуса за плечи, Мара наклонилась над ним:

— Тебе рабочего дня недостаточно, Пиня? Отдохни.

— Ты не представляешь, сколько сейчас работы! Столько нужно сделать — рук не хватает.

— Мы только сейчас стали семьёй, Пинхус. Восемь лет прошло со дня нашей свадьбы, а разве мы жили в эти годы?

— Я знаю, любимая! Но теперь-то у нас всё будет хорошо.

— Если будет.

— Что ты имеешь в виду?

— Хотят национализировать клинику, а доктора Гольдштейна собираются уволить.

Последние слова Мара добавила от себя.

— Почему уволить? — удивился Пинхус. — Он хороший врач. Пусть работает себе на здоровье в советской поликлинике.

— И это всё, что ты можешь сказать? Если бы не доктор, мы бы умерли тут без тебя. Никто не хотел помогать, а он взял меня на работу.

Пинхус тут же понял, что от него требуется.

— Завтра же всё выясню. Не беспокойся. Никто вашего доктора не уволит.

О разговоре с мужем Мара не рассказывала Гольдштейну, но Залман догадался, что не просто так его оставили в клинике, да ещё назначили заведующим. И однажды он сказал медсестре:

— Я вам очень обязан, Марочка. Никогда этого не забуду.

— Мара опустила свою ладонь на лежавшую на столе руку доктора:

— Не стоит об этом, дорогой. Если б не вы, мы вообще бы пропали.

Оба ещё не знали, что вскоре Пинхусу придётся действовать снова, и на этот раз всё будет гораздо серьёзней.

В повестке, которую спустя полтора месяца под расписку вручил Фире почтальон, сообщалось, что гражданину Гольдштейну надлежит явиться в Главное управление НКВД. Уже войдя в квартиру, доктор почувствовал тревогу. Жена не уединилась, как часто бывало в последнее время, избегая встречать его после работы. Наоборот, она вышла в прихожую и по её изменившемуся лицу Залман понял: что-то произошло. В кабинете, куда они оба вошли, Фира обняла его так, как давно уже не обнимала. Оба долго не могли успокоиться. НКВД — страшное сочетание слов, услышав которое люди падали в обморок, снова сблизило их, давая понять, что выжить в такой ситуации можно, лишь поддерживая друг друга.

На следующее утро доктор уже был в бюро пропусков. Управление находилось рядом. Чекисты не мелочились: разместились в занимавшем целый квартал красивом здании в стиле «модерн» на улице Бривибас, между Гертрудинской и Стабу. Подойдя к окошку, Залман назвал свою фамилию.

— Второй этаж, восьмая комната, — сказал дежурный, заглянув в какую-то ведомость и окинув Гольдштейна недобрый взглядом.

Волнуясь, Залман поднимался по лестнице. «Если следователь русский, — думал он, — будет трудно». С русским языком у доктора было неважно. Большую часть того, что говорили, он понимал, но затруднялся с ответом. Мешал акцент, трудно было произносить непривычные слова. Найдя нужную дверь, он робко постучал.

— Войдите! — раздался голос.

Войдя, доктор увидел за столом молодого блондина с тремя квадратами в петлицах.

— Младший лейтенант государственной безопасности Киселёв, — представился блондин, и вдруг неожиданно спросил:

— Вы на каком языке говорите?

— Лучше по-латышски... — начал было Гольдштейн.

— Хорошо, — прервал Киселёв, моментально перейдя на латышский, и кивнул на стул.

Залман осторожно присел. «Наверное, латгалец»<sup>1</sup>, — мелькнуло в голове.

Несколько минут младший лейтенант изучал лежавшие на столе документы и, закончив чтение, поднял глаза на доктора:

— Гольдштейн Залман сын Исройла? Так?

В том, что отчество принесено правильно, Залман не был уверен, но на всякий случай кивнул.

— Отвечайте, да или нет.

— Да.

Задав ещё пару формальных вопросов, Киселёв снова принялся читать какую-то бумагу и внезапно, не отрывая взгляда от стола, сказал:

— Рассказывайте.

Гольдштейн хотел было спросить, о чём он должен рассказать, но Киселёв сам подсказал направление:

— Рассказывайте о том, как работая заведующим амбулаторией, занимались вредительством и саботажем.

У Залмана мгновенно пересохло во рту.

— Ну!

— Но я никогда и ничего... — попытался возразить Залман.

— Меня ваши оправдания не интересуют. Поступил материал, — следователь показал на папку, — мы должны разобраться. Говорите конкретно: когда, где, что.

Но доктор онемел от ужаса и не мог извлечь из себя ни слова. Подождав немного, младший лейтенант произнёс:

— То что вы не желаете сотрудничать со следствием — не в вашу пользу. Получите суровый приговор и вместо лагеря... — Киселёв сделал характерное движение. — Советую не запыраться и чистосердечно всё рассказать. Это облегчит ваше положение. Даю возможность подумать. Конвойный! — крикнул он в коридор.

Вбежал конвойный.

— Отведи его пока в одиночку. Ту, что слева — там он созреет быстрее.

---

<sup>1</sup> Среди восточных латышей (латгальцев), исповедующих православие, встречаются русские имена и фамилии.



В этот день Мара, как всегда, была на работе. Подниекс и Рута тоже были на месте, отсутствовал только заведующий. Правда, он предупредил, что задержится с утра, но день заканчивался, а Гольдштейн не появлялся, и это беспокоило Мару. Только её, потому что Подниекс был в необычайно хорошем настроении и всё норовил прижать где-нибудь в укромном углу Руту, тоже не выказывавшую никаких признаков волнения. Понимая, что эти двое домой не торопятся, Мара переделалась и, попрощавшись, вышла из клиники, едва не столкнувшись со спешившей ей навстречу женой Залмана. И хотя Мара один только раз видела Фиру, не запомнить её было трудно. Но сама Фира не узнала Мару и пробежала бы мимо, если бы та не остановила её, едва не закричав на всю улицу, потому что Фира не реагировала:

— Я — Мара! Пойдите! Что произошло?!

С трудом придя в себя, Фира, плача и путаясь, рассказала, что Залман утром ушёл в НКВД и не вернулся. Отчаявшись дожидаться мужа, она побежала в клинику к Маре. И теперь она умоляет Мару хотя бы что-то узнать. На них стали оглядываться прохожие, и Мара завела Фиру в ближайший подъезд. Её почему-то стала раздражать эта красивая женщина: выскочив в чём попало из дома, она выглядела расстрепанной и жалкой. Сдерживая себя, Мара сказала:

— Меня не надо ни о чём просить. Я и так сделаю всё, что смогу. Немедленно поговорю с мужем. Сообщу, как только что-либо выяснится.

И Мара побежала искать телефон. Пинхус был на работе, нужно было звонить туда. В клинику возвращаться не стоило: Подниекс и Рута наверняка уже закрыли дверь изнутри. Сейчас, сейчас — Мара остановилась, чтобы подумать. Бежать домой — но это не так близко. С другой стороны ей совершенно не нужно, чтобы кто-то случайно услышал разговор. Значит, всё-таки домой. Мара бежала так, как никогда не бегала в жизни, не обращая внимания на удивлённые взгляды. Вбежав в квартиру, она не сразу набрала номер телефона: руки тряслись, такого с ней никогда ещё не было.

Услышав голос жены, Пинхус разволновался сам. Он не помнил, чтобы у Мары когда-нибудь был такой голос. Убедившись, что с ней и с дочкой всё в порядке, Пинхус сказал, что сейчас же едет домой.

Мара в изнеможении бросилась на кровать. Она не понимала, что с ней творится. Было ясно только одно: если с доктором что-то произойдёт, она не сможет это пережить. Мара вспомнила, как ей нравилось работать с Михаэлем, сыном Залмана. Она испытывала к нему такое чувство, как если бы он приходился ей младшим братом. А Подниекс, — почему-то подумала Мара, — явно был недоволен, но молчал. Михаэль ушёл от них в начале осени, ему удалось поступить на медицинский. Мысли путались в голове Мары, но любая из них так или иначе была связана с Залманом. Очнувшись Мара оттого, что кто-то тронул её за плечо. Открыв глаза, она увидела Пинхуса.

Выслушав страстную речь Мары, Пинхус ответил не сразу. Его немного удивило, то что жена так близко (на его взгляд слишком) воспринимает происходящее. Конечно, они очень обязаны доктору Гольдштейну, и он, Пинхус, никогда этого не забудет, но не переживают же так за чужого человека. А ведь есть и другая сторона дела. Органы всесильны. Он сам в данном случае мелкий гриб, не та у него должность, чтобы на НКВД повлиять. Только Калнберзин может. Но как попросить его об этом, не рискуя подставить себя под удар?

Выдержав паузу и стараясь говорить как можно мягче и убедительней, Пинхус начал объяснять Маре насколько это сложно и даже опасно ходатайствовать за Гольдштейна. Он сам не может ничего: нужно просить Калнберзина. Но Мара была не в том состоянии, чтобы терпеливо выслушивать доводы мужа:

— Вы же вместе были в подполье, вместе сидели. У тебя с ним личные отношения, а ты боишься его попросить за честного не повинного ни в чём человека, который нам помог. Да что же это за власть у вас такая, которая сажает просто так?! Ты из тюрем не вылезал, жизнью на войне рисковал — за что? За идею? Так вот, Пиня, если доктор не вернётся, все ваши идеи — мыльный пузырь.

Пинхус молчал. Мара поняла, что сдвинуть его с места можно только решительными действиями:

— Ты сейчас подойдёшь к телефону и позвонишь Калнберзину, Пинхус! Он тебе не откажет. Вам обоим есть что вспомнить.

Пинхус посмотрел на Мару: жена ни разу не говорила с ним таким требовательным тоном:

— Гольдштейн действительно знал, когда брал тебя на работу, что я сижу? Кто это может подтвердить?

— А моего подтверждения мало? Ну сам подумай, мог ли кто-то, кроме нас с доктором, об этом знать.

— Выходит, доктор нам помогал?

— Выходит.

— Хорошо. Тогда я так и скажу.

Уже сутки Залман находился в Главном управлении НКВД, в маленьком и узком помещении с небольшим зарешённым окном. В остальном камера не выглядела страшной, а стены как видно, недавно покрашены масляной краской. Но не хватало воздуха, и доктор задыхался. Он почти ничего не ел: вечером дали кружку воды и кусок хлеба, а наутро — тот же хлеб и тёплый чай. Всю ночь он не спал: невозможно было уснуть, и Залман то представлял себя на лесоповале, на искрящемся под ярким зимним солнцем (почему под солнцем?) сибирском снегу, то видел каким-то боковым зрением, как в зале суда ему выносят смертный приговор. И получалось, что если он хочет сохранить жизнь, ему надо оклеветать себя, а если будет твердить, что невиновен, его расстреляют. Глотнув тюремного чаю, он сидел в оцепенении и даже не сразу понял, что дверь открылась:

— На выход! — приказал конвойный.

Готовый к самому худшему, доктор переступил порог кабинета младшего лейтенанта госбезопасности Киселёва. Но вчерашнего следователя в комнате не было. Навстречу Залману встал из-за стола высокий седоволосый человек явно выше Киселёва рангом.

В малиновых петлицах у него были два прямоугольника. Подойдя ближе, седой сказал по-латышски:

— Что же вы скрыли от нас, что в годы буржуазной диктатуры помогали латвийским коммунистам? Это в корне меняет дело. Обвинения сняты, доктор Гольдштейн. Вы свободны. Как видите, советская власть не наказывает невиновных и уж тем более тех, кто оказывал нам поддержку. Задержу вас буквально на минуту, это чистая формальность. Присядьте, пожалуйста.

Залман нерешительно сел. Он был потрясён. От чекиста не укрылось его состояние, и тот произнёс:

— Понимаю вас, доктор, очень понимаю. Скоро вы будете дома. Всего лишь один вопрос. Да, — спохватился седой, — вы же ничего не ели. Сейчас организуем бутерброды и чай.

Залман хотел сказать, что не надо никаких бутербродов, что он хочет домой, но язык не повиновался: доктор не мог произнести ни слова.

А чекист, доверительно и ободряюще глядя, начал:

— Вы проявили большое мужество, товарищ Гольдштейн, помогая нам в тяжёлых и опасных условиях. Благодаря таким, как вы, мы победили, но недругов ещё много вокруг. И я уверен, что советская власть может на вас рассчитывать.

— На своём рабочем месте, как врач, ударным трудом... — начал было отвечать, как положено, обретший, наконец-то, дар речи Залман, но седой улыбнулся и продолжил:

— Вот именно — на рабочем месте, доктор. Разные люди бывают у вас в амбулатории, и мы с вами знаем, что есть среди них замаскированные враги. Представим себе, что кто-то начинает вести с вами откровенный разговор или просто говорит в вашем присутствии о народной власти что-то неподобающее. Как советский человек вы разве будете молчать? Конечно, нет. Вы станете возмущаться, может быть скажете, что обратитесь в органы. Так вот: этого не следует делать.

— Что не следует делать? — не понял Гольдштейн. — Обращаться в органы?

Чекист рассмеялся:

— Да нет. Обращайтесь, конечно. Только делать это нужно спокойно, не давая себя разоблачить. Не возражая тем, кто ведёт антисоветские разговоры. Послушайте, что они говорят, сделайте вид, что согласны. А потом...

— Вербует! — понял Залман. — Вот оно что! Хочет сделать меня, как там у них называется (он уже слышал где-то это слово) «сексотом». Но ведь это ужасно. Как же быть?

— А потом вы поставите нас в известность. Ведь вы же наш человек, доктор.

— Не уверен, что подхожу для такого дела. Видите ли, я, как врач, должен заниматься организмом пациента, а не вникать в его разговоры. Прислушиваясь к словам, можно легко упустить другое.

— А я думаю, что такой специалист, как вы, ничего не упустит, — многозначительно и с нажимом на последние слова сказал седой, выжидательно глядя на Гольдштейна. Не дождавшись ответа, он помрачнел:

— Своим отказом, своим нежеланием сотрудничать с нами вы подведёте тех, кто поручился за вас. Вот, например, Пётр Цвиллинг, человек проверенный, старый подпольщик. Коммунист, которому мы полностью доверяем. Получается, что он ошибся, или, — чекист сделал паузу, разводя руками, — сознательно ввёл нас в заблуждение.

— Господи, — зазвучало в голове Залмана, — Пётр, то есть Пинхус, муж Мары. Человек, которому он и без того обязан, который уже помог однажды. Навлечь на него неприятности? На него, на Мару? Ни в коем случае! Так что же делать?!

— Если произошла ошибка, или того хуже, — снова услышал он голос седого, — то и вопрос вашего освобождения придётся пересмотреть. Мы будем вынуждены снова заняться вашим делом. Вы будете находиться в камере, пока не закончится следствие, а вести его мы станем очень тщательно, — человек с двумя прямоугольниками сделал угрожающий нажим на последнее слово. — Ну а потом, — и он снова развёл руками, как бы сожалея и в то же время демонстрируя бессилие что-либо изменить, — суд и приговор. И насколько могу судить, исходя из серьёзности обвинений — вас ожидают десять лет лагерного режима в самом лучшем случае.

Залман хотел ответить, но вдруг обнаружил, что не видит сидящего напротив чекиста. Перед глазами стояла серая пелена, и он почувствовал боль в груди и в левой лопатке. Как тогда, когда от него уходила Фира. Сделав невероятное усилие, Гольдштейн произнёс:

— Я вовсе не отказываюсь сотрудничать и помогать советской власти. Я только выразил сомнение в своих возможностях.

Серая пелена спала, и доктор увидел седого. Тот смотрел на него с иронической полуулыбкой:

— Вы всё понимаете, доктор, а ведёте себя глупо и напрасно тратите время, — чекист придвинул к себе какой-то листок и расписался. — Вот ваш пропуск. Вы свободны. Сам товарищ Калнберзин за вас поручился, и его доверие вы обязаны оправдать. Очень хорошо, что мы с вами друг друга поняли. Работайте спокойно, когда будет нужно, мы вас найдём.

Залман встал и, всё ещё не веря своему счастью, с драгоценной бумажкой в руке направился к выходу. Уже открывая дверь, он услышал:

— Я самого товарища Ленина в восемнадцатом году охранял, доктор Гольдштейн, а вы в это время с белыми латышами против нас воевали. И хотя вы помогли нам при буржуазном режиме — этого недостаточно, чтобы полностью искупить вашу вину. Дальнейшее зависит от вас.

Переходя улицу по направлению к дому, доктор подумал, что теперь он должен каждый день ожидать вызова в НКВД для отчёта. Или же приглашения в условленное место с той же целью. Но время шло, а доктора никто не беспокоил. То ли о нём забыли, то ли у чекистов нашлись дела поважнее. Отношения с Фирой восстановились, словно неиспользованный сертификат больше не стоял между ними. Михаэль был захвачен учёбой и, казалось, забыл о Палестине. Лие исполнилось пятнадцать, она училась в предпоследнем классе, и Залман уже начал думать о том, где Лия продолжит обучение. Правда, новая власть закрыла гимназию «Раухваргер», и Лию вместе с другими учениками перевели в русскую школу, но доктор не слишком переживал. Если советская власть надолго, то и русский язык необходим, думал он, вспоминая, как опасался, что в НКВД с ним будут го-

ворить только по-русски. Внешне всё выглядело так, как будто жизнь постепенно входит в новое русло. На работе доктор Подниекс был, как всегда, исполнителен, но доктор заметил, что с тех пор, как он чудом вернулся из НКВД, Густав ни разу не улыбнулся. Улыбалась только Рута, и хотя в её улыбке было что-то змеиное, Залман старался убедить себя, что после стольких испытаний ему стала мерещиться всякая чушь. А Мара, напротив, была задумчива, даже печальна, и так же, как Подниекс, почему-то перестала улыбаться. Самым удивительным было то, что они почти не разговаривали. Когда, вернувшись в клинику, доктор стал благодарить свою верную помощницу, Мара, внезапно покраснев, еле выдавила из себя:

— Не надо, доктор. Это мы... обязаны...

И не договорив, стремительно выскочила из кабинета. Это было совершенно не похоже на прежнюю Мару. Шли дни, и Гольдштейн стал замечать, что медсестра стремится как можно меньше оставаться с ним наедине, используя для этого любой предлог. Залман не знал, что думать. Он не мог понять, что произошло, и, скорее всего, никогда бы не понял, если бы не случайно услышанный разговор. Доктор направлялся в кабинет Подниекса и уже был у двери, когда до него донеслось:

— Эта жидовка, похоже, влюбилась в Гольдштейна, — говорила Рута. — Интересно, что думает её муж-большевик.

— Тебе интересно, что он думает? — спросил Подниекс. — Да он ничего не знает. Они его вокруг пальца обводят. Если бы не она, Гольдштейн бы из Чека не вышел. Кто бы мог подумать? Вот уж действительно: еврейская власть...

Не дослушав, доктор поспешно отошёл от двери. Он чувствовал себя так, словно получил удар по голове, и даже не обратил внимание на нелестные для евреев слова, которыми обменялись Рута и Подниекс. Его ошеломило другое: Мара влюбилась. В него, в Залмана. Не может этого быть! И всё же... Если Рута права, это объясняет поведение Мары. Она борется с собой, боится дать волю своему чувству. Так вот оно что! Но ведь и ему Мара небезразлична. Он вдруг начал понимать то, что смутно чувствовал и раньше: Мара

всегда ему нравилась, но не только, как работница, как медсестра, а как женщина, которая создана для того, чтобы дать тепло и уют. Неожиданно до Залмана дошло, и он сам испугался своего открытия: ему всегда нужна была такая, как Мара — надёжная, спокойная и искренняя, а не такая, как Фира — натура противоречивая и сложная, живущая какой-то своей, не всегда понятной внутренней жизнью, как будто в постоянной борьбе с одолевающими её порывами и страстями. Но даже если так, подумал доктор, теперь-то что делать? Объясниться с Марой? Отпустить тормоза? Сделать несчастными Фиру и ни в чём не повинного Пинхуса? А Пинхус, кстати, отомстить может, он теперь — власть, и уже дважды доказал это. Ещё не зная, как поступить, Гольдштейн сознавал, что ему не найти решение. Разве что уволить Мару? Да, это наверно единственный выход. Но под каким предлогом? Что ей сказать? Поговорить откровенно, объяснить, что они не могут больше работать вместе? Но ведь он не хочет её терять! Пусть она не улыбается, пусть молчит — ему, Залману, нужно, чтобы Мара была рядом: не может он расстаться с ней. И думая так, доктор не знал, что пройдёт совсем немного времени, и ему не надо будет ничего решать, потому что судьба не оставит им никакого выбора, и сама решит за них и этот и другие вопросы.



## Глава седьмая

Йосэф стоял у окна и с высоты двенадцатого этажа смотрел на Бруклинский мост. Уже два месяца он находился в Нью Йорке, в квартире Джуди на Манхэттэне. Квартира досталась Джуди от первого мужа. Об этом периоде своей жизни Джуди не распространялась, и Йосэф не донимал её расспросами. Захочет — сама расскажет. Всё равно ему не до этого. Даже несколько лет тому назад, расставшись с Фирой, он не чувствовал себя так плохо, как сейчас. В эти дни, когда евреям в Европе грозит опасность, а в Палестине идёт борьба с англичанами, лишившими евреев права на собственный дом, — в такое время он, Йосэф Цимерман, вынужден отсиживаться без дела в Америке. После того как «Бахэрев»<sup>1</sup>, подпольный боевой листок сионистов-ревизионистов, опубликовал стихи Йосэфа, в которых британская администрация усмотрела призыв к восстанию, Джуди пришла к выводу, что оставаться в Палестине опасно. Пока англичане только следят, но в любую минуту могут арестовать. Собственное положение Джуди тоже было шатким: «Палестайн пост» перестала публиковать её статьи, зато цитаты и выдержки из них еврейское подполье распространяло в виде листовок и воззваний, и англичане, вне всякого сомнения, искали автора. Йосэфу не хотелось уезжать, и он согласился только потому, что опасность грозила жене. Оба надеялись, что уезжают ненадолго.

Йосэф подумал, что ему выпала редкая в жизни удача. Джуди не только его понимает, но и оказывает влияние на его творчество. Это она тактично и ненавязчиво объяснила Йосэфу, что, конечно же, его стихи замечательны, но, как поэт, он слишком связан классическим стилем, рифмами, а время требует другого, и нужно применять новые формы. И стихотворение, из-за которого он теперь оказался здесь, как раз и было другим, не похожим на то что Йосэф писал раньше:

---

<sup>1</sup> Исмаила.

Говорили они, что стремление к миру  
овладеет сердцами сынов Ииимаэля<sup>1</sup>,  
если скажем мы им: оставайтесь,  
чтобы вместе сажать здесь деревья,  
вместе строить дома, собирать урожай,  
и гулять друг у друга на свадьбах.

Не хотим подниматься туда, где вознёсся ваш купол  
вместо нашего Храма,  
дайте нам лишь молиться спокойно у ваших подножий  
и оплакивать древние камни.

И поделим мы с вами эти горы и эти долины —  
мы мечту поколений, что хранили они,  
стиснув зубы и слёз не скрывая,  
отдадим за покой наш в уплату.

Но ответил поэт: разве ветка оливы  
может выбить топор из руки нечестивой,  
на которой не высохла кровь ваших братьев?  
Вы споткнулись в пути, ибо кони нагружены тяжело,  
и по тропам скользят над обрывом.

Так развьючьте коней и сойдите на землю,  
и возьмите мотыгу и ройте, пока не найдёте  
среди древних останков  
незаржавленный меч Маккавеев!

Потому что забыта у вас доблесть предков: как воры  
пробираетесь в сумраке вы на родные руины,  
чтобы выкупить родину вашу за деньги,  
как за деньги в изгнание вы жизнь покупали!

Но отчизна ждёт воинов, а не торговцев,  
и не звон серебра — звон мечей она хочет услышать  
от потомков Давида!

Закончив писать, Йосеф заколебался. «Звон мечей» звучало не по-еврейски, никак не вписывалось в еврейскую традицию. Но Джуди заявила, что это именно то, что нужно:

<sup>1</sup> «Мечом» (ивр.).

— Сколько можно обороняться? Ты точно сказал: мы пытаемся выкупить родину за деньги, подобно тому как покупали в галуте за золото жизнь. Но так не бывает. Да, мы не хотим проливать кровь, поэтому предлагаем арабам мир, только он наступит не тогда, когда мы разделим с ними страну, а когда добьёмся признания нашего первородства, наших бесспорных прав. Для этого нужен меч, и сегодня наш главный враг — англичане. Закрыв евреям путь на родину, они превратились в добровольных помощников Гитлера. Жаль, что великий Жабо<sup>1</sup> ушёл из жизни так и не поняв этого до конца. Сколько людей были бы спасены, если бы не проклятые сертификаты, которые невозможно получить! Непременно оставь последнюю строку! Звон мечей — как раз то, чего нам сейчас не хватает!

Йосэф вспомнил стихи, которые он прочитал Фире в день их первой встречи у Эммы. Как давно это было! Пять лет прошло, а кажется — целая жизнь. Уехав из Риги, Йосэф продолжал поддерживать связь с Эммой и другом юности Натаном. Последнее письмо пришло совсем недавно, уже на нью-йоркский адрес. Эмма сообщала, что Фира изменилась, её красота потускнела, хотя с виду кажется, что у них всё хорошо: доктор заведует своей бывшей клиникой и вообще у новой власти в почёте, сын учится в университете. Читая письмо, Йосэф чувствовал, как сжимается сердце. В последнее время его одолевали плохие предчувствия. А на днях ему снился кошмарный сон: деревья в чёрном лесу, и на них раскачиваются тела в традиционных еврейских одеждах. Такие одежды он видел разве что на картинках и в Иерусалиме. Хотя нет, и здесь, в Нью-Йорке, Джуди показывала ему этих людей. Утром Йосэф рассказал свой сон Джуди, и жена ответила, что это не сон, а близкое будущее.

— Твой сон уже сбывается в Польше, — сказала Джуди, — а теперь, когда Германия захватила Европу, на очереди Советский Союз. Не верю, что нежная дружба Гитлера и Сталина продлится долго, вдвоём им не хватит места. Не знаю, кто из них выступит первым, но мне страшно подумать о том, что там начнётся, если первым окажется Гитлер. Я боюсь за твоих родственников, Йоси (Джуди, которая вначале называла мужа «Йосэлэ» или «Йосл», давно перешла на ивритское «Йоси»).

<sup>1</sup> Жаботинский.

— Я сам боюсь, потому и вижу такие сны, — ответил Йосэф, а про себя подумал: «Правда в том, что больше всего я боюсь за Фиру. Больше, чем за родителей. Плохой я, наверное, сын, но ничего не могу поделать».

Телефонный звонок прервал размышления Йосэфа. Звонил адвокат Лангерман. Пронюхав (каким образом, где?) о том, что Джуди вернулась в Америку, адвокат здраво рассудил, что навряд ли она приехала одна. И не ошибся: трубку взял Йосэф. В ней рокотал тот же голос уверенного в себе сытого человека, как будто Лангерман не уезжал из Риги:

— Приветствую, дорогой Йосэф! Рад вас услышать! Что может быть лучше на чужбине, чем услышать земляка и к тому же старого знакомого! Не спрашиваю, почему вы оказались в Нью-Йорке. Добавлю только, что действительно очень рад. Скажу вам откровенно: истосковался я здесь. Каждый день думал: хоть бы одна родная душа! И вот, Бог посылает мне вас.

— Спасибо, господин Лангерман! Тронут!

— Ну что вы, Йосэф! Какой там господин! Для вас — только Макс.

Адвокат продолжал говорить, извергая из уст настоящую словесную Ниагару, но Йосэф слушал вполуха. Он понимал, что такой человек, как Лангерман, зря не позвонит, и ждал, когда Макс перейдёт к делу. Наконец, в трубке зазвучало:

— Работаю в конторе Джеффри Стоуна, но там с перспективами плохо. С вашего разрешения, дорогой, хотел бы поговорить с Джуди. Если помните, когда мы прощались в Риге, и я намекнул, что собираюсь в Америку, ваша жена сама предложила протекцию. Вы, разумеется, не забыли, что ваш папа, чтоб он был здоров, стоял, как скала. И всё же мне удалось с ним договориться и повернуть дело в вашу пользу.

— Конечно, помню, — ответил Йосэф. Разве можно такое забыть? Джуди нет, но могу дать телефон редакции, где она находится сейчас. Уверяю, Макс, она сделает всё, что в её силах. — И терпеливо выслушав благодарные излияния Лангермана, неожиданно спросил:

— Вы, вероятно, поддерживаете связь с Ригой? Я бы хотел...

— Насколько мне известно, — не давая Йосэфу закончить и как будто продолжая начатую фразу произнёс Лангерман, — доктор Гольдштейн не бедствует. И даже обласкан советской властью. А Эсфирь, — адвокат слегка понизил голос, настраиваясь на интимную ноту, — она, к сожалению, не в лучшем состоянии. Депрессия. Ведь им, беднягам, не повезло. Двери захлопнулись именно тогда, когда они во-вот должны были уехать.

— Ясно, — подумал Йосэф, закончив разговор. — Всё сходится. Фира в мышеловке, и, осознавая это, впала в депрессию. А он, Йосэф, вместо того чтобы действовать, продавливая диван в чужом доме. И неважно, что квартира принадлежит Джуди. Какое он имеет к этому отношение? Фира в беде! А Лангерман, ничего не спросив, сам заговорил о ней, давая понять, что находится в курсе. Вот же бесстыя! И всё-таки не надо забывать: они с Джуди обязаны Максусу.

Джуди вернулась поздно, но в хорошем настроении. Весь день она провела в редакции еженедельника «А-Доар»<sup>1</sup>, выходящего в Нью-Йорке на иврите. После долгих переговоров, которые несколько раз грозили сорваться, ей удалось договориться с редактором о публикации стихов, а в перспективе — статей Йосэфа. Это был серьёзный успех, и Джуди имела все основания рассчитывать на благодарную реакцию мужа. Главное сделано. За себя она беспокоилась меньше: её статью о Палестине уже ожидали в «Нью Йорк геральд трибюн».

Но к разочарованию Джуди, Йосэф не проявил восторга, только рассеянно кивнул и выдал «спасибо». Он явно думал о другом, и Джуди пришлось приложить усилия, чтобы Йосэф начал делиться с ней своими мыслями:

— Больше так не могу. Нужно поехать в Латвию. Надо что-то предпринять. Они там все погибнут, я чувствую.

Джуди посмотрела на мужа, как на больного, но, оценив его состояние, сказала как можно мягче:

---

<sup>1</sup> Почта (ивр.)

— Йоси, дорогой, ну куда ты поедешь? Никому не сможешь, а себя погубишь. С твоим палестинским паспортом у тебя все шансы затеряться в Сибири. И это ещё в лучшем случае. А в худшем — сам знаешь. И будь ты американцем — тоже смертельно опасно. Даже если с тобой ничего не случится, твоих родственников не выпустят всё равно.

Но Йосэф упорствовал, и Джуди заволновалась. Она не могла себе представить, что из-за родных, с которыми Йосэф расстался не лучшим образом, он готов теперь рисковать жизнью. Стало быть, дело в другом, но в чём? О существовании Фиры Джуди не знала, но чувствовала, что Йосэф недоговаривает. Одно было ясно: если он в таком состоянии, значит речь идёт о чём-то (или ком-то) крайне дорогом для него. Что же это может быть? Так ведут себя, когда в опасности ребёнок или любимая женщина. Детей у Йосэфа нет, в таком случае остаётся женщина. Вот оно что! Как же она сразу не догадалась?

— Ты ничего не хочешь мне сказать, Йоси? Кто у тебя остался в Риге?

Йосэф, потупившись, молчал. Джуди заговорила о другом:

— Твой адвокат мне звонил сегодня. Думаю, что сумею ему помочь. Сэм хочет расширяться, ищет подходящего человека. Рассказала ему, какие чудеса проделывал Макс, когда вёл твоё дело.

Сэмом звали двоюродного брата Джуди. Йосэф его видел. Когда они приехали, Джуди пригласила Сэма. Пока говорили об американской экономике, об Уолл Стрит и о конкуренции среди адвокатов Нью Йорка, Сэм реагировал живо и поддерживал разговор, но стоило Йосэфу заговорить о европейских евреях, об Англии, закрывшей для еврейских беженцев Палестину, как адвокат потух и всем своим видом старался показать, что еврейская тема нисколько его не волнует, и если он имеет к ней отношение, то лишь в силу своего рождения, за которое не несёт никакой ответственности. На мужа кухни Сэм смотрел, как на марсианина. Джуди своего родственника знала хорошо, а Йосэфу стоило больших сил сдержаться.

— Я дала Максу телефон Сэма, — сказала Джуди и без всякого перехода добавила: Йосэф, между нами не должно быть тайн.

— Это было до тебя, и закончилось до того, как мы познакомились. Кстати, и ты мне о себе не всё рассказала.

— Время придёт — расскажу, — не смутилась Джуди. — Йоси, милый, я всё понимаю, но совершить то, что ты задумал — значит вынести себе приговор. Знаешь, у меня был очень тяжёлый день, а завтра мою статью ждут в «Геральд трибюн», и будет не легче. Они там привыкли железом кромсать по-живому. Послезавтра я работаю дома, тогда и продолжим этот разговор.

Йосэф чувствовал, что Джуди права, но представив себе обессиленную, беспомощную Фиру, решил, что будет бороться. На следующий день он, то загораясь, то приходя в отчаяние, один за другим придумывал и отбрасывал варианты поездки в Ригу и не сразу услышал звонок. Это была Джуди. Она сказала всего одну фразу:

— Гитлер напал на Россию.

## Глава восьмая

14 июня 1941 года эшелоны, увозившие из Риги 15 000 депортированных латышей и 5000 евреев, направились на восток, а назавтра позвонила Дина. Сестра говорила намёками, и Фира, в последние месяцы страдавшая от замедленной реакции, вызванной, как полагал доктор, постоянным употреблением успокоительного, не могла ничего понять. Трубку взял Залман, и только после того как Дина три раза повторила своё сообщение, до него дошло: то, что случилось в Латвии, произошло и в Литве. Три дня тому назад у Айзексонов был обыск, и Юду забрали. Его увезли в Вильнюс, и что с ним было дальше, Дина не знает. Особняк отбирают, им дали две недели на сборы, и только потому что у Дины на руках больная мать. Доктор понял: теперь их очередь взять маму к себе.

Но Фира, узнав в чём дело, быстро пришла в себя и заявила, что не только маму, но и Дину с детьми они должны забрать в Ригу. Гольдштейн не возражал. Он всегда хорошо, по-родственному, относился к Дине, а кроме того трёхкомнатная квартира госпожи Фейги пустовала, потому что Залман весь год исправно вносил квартирную плату. 14-го июня домовладельца угнали в Сибирь, и было понятно, что дом национализируют, поэтому важно было вселить туда Дину как можно скорее. Дина колебалась, ей не очень хотелось уезжать из Каунаса, и только 20-го она сообщила, что решение принято. Фира была счастлива. Сёстры любили друг друга, и доктор надеялся, что приезд Дины благотворно отразится на состоянии жены. Весь следующий день Фира носилась с различными проектами устройства сестры и племянников (у Дины были два сына, 15-ти и 13-ти лет). Залман тоже не скучал: теперь о больной тёще должен был позаботиться он. Но все проблемы отступали, когда доктор видел радостное лицо жены. Фира на глазах возвращалась к жизни, и ночью, в постели, они всё ещё продолжали обсуждать различные планы и перспективы. Уснули под утро. Засыпая, Гольдштейн услышал какой-то



гул, похожий на гул самолётов, но не обратил внимания: мало ли что может померещиться человеку.

Встали поздно. В воскресенье Марта брала выходной, и Фира с Лией отправились на кухню готовить завтрак, который по времени уже приближался к обеду. Михаэль возился с приёмником, но старое радио кроме шума и треска никаких звуков не издавало. Думая о том, что настал срок заменить аппарат, Залман не сразу расслышал вдруг зазвучавшие слова, а когда расслышал, решил, что из-за неважного знания русского не уловил их смысл. Но увидев застывшего Михаэля, испуганные глаза вбежавшей в комнату дочери и побледневшую от страха жену, понял: ошибки нет. Началась война, о которой говорили, которую ждали, и, несмотря на это, началась она неожиданно: подкралась из-за угла и ударила в спину.

Все воскресные планы были смяты. Фира пыталась дозвониться до Дины, но линия была занята. Отчаявшись, она сказала, что сама поедет в Каунас и привезёт сестру и мать. Как ни доказывал доктор, что это невозможно, что Каунас недалеко от границы, и немцы могут быть там уже в ближайшие дни, — ничто не действовало на Фиру. И только когда Залман позвонил на вокзал, и пробившись каким-то чудом в справочную выяснил, что расписание поездов недействительно, а с Каунасом вообще сообщения нет, Фира обессиленно рухнула в кресло, возвращаясь опять в то угнетённое состояние, в котором пребывала недавно. Весь остаток дня Михаэль крутил ручку приёмника, надеясь поймать какие-нибудь новости, но московское радио докладывало бодрым голосом, что Красная армия успешно отбивает атаки, а немцы, гремя фанфарами, горланно оповещали мир, что вермахт, подавляя сопротивление русских, вклинился далеко в глубь советской территории. Прошло ещё несколько дней, и самой лучшей информацией о происходящем на фронте стали отступающие через Ригу на правый берег Даугавы советские войска.

Если бы Фира была в порядке, семья Гольдштейна, скорее всего, уже находилась бы в одном из эшелонов с эвакуированными, которые пока ещё отходили из Латвии на восток. Или в одной из машин, которые двигались в сторону Резекне и Пскова. Только Фире было плохо. Она знала, что началась война, но думая о застрявших в Литве

родственников, не могла осознать, что у них самих почти не осталось времени для спасения. На эвакуации настаивал Михаэль, но доктор колебался, потому что двое офицеров из штаба Прибалтийского особого военного округа, ставшего Северо-Западным фронтом, забирая из амбулатории почти все лекарства — по их словам для полевого госпиталя — уверенно заявили, что Рига не будет сдана. Получив лекарства, офицеры сели в «эмку» и рванули на Московское шоссе. Лишь на седьмой день войны, когда Мара, вторые сутки не появлявшаяся на работе, заскочила попрощаться, Залман понял, что надо бежать. Но говорили, что поездов уже нет, а в машине Пинхуса, где разместились Мара с дочкой, водитель, сам Пинхус и партийные документы в сопровождении сержанта НКВД, не осталось ни одного свободного места.

Прощание было тяжёлым и горьким. Мара вошла в кабинет Гольдштейна одна, муж остался на улице. Не сказав ни слова, она обняла доктора за шею и поцеловала в губы, вложив в этот долгий, и пылкий поцелуй всё своё невысказанное чувство. Им не нужны были слова, молча они стояли, слившись в объятья. По-прежнему не сказав ни слова, Мара медленно отстранилась, и пошла к выходу. Задержавшись у двери, она обернулась и посмотрела на Залмана так, что не веривший в предчувствия доктор с ужасом понял: они видятся в последний раз. «Маска смерти, — подумал Гольдштейн, — говорят, что на лице обречённого появляется маска смерти». Сам он никогда не относился к этому серьёзно, но именно так сейчас выглядело лицо Мары.

Залман шёл домой, лихорадочно проворачивая в мозгу варианты эвакуации. Машину не раздобыть и места в чужой машине не получить. Три-четыре дня тому назад ещё можно было попробовать, а теперь поздно. Остаётся одно: пешком двигаться к старой советской границе. Только что это даст? Как далеко они смогут уйти? Сегодня он услышал, как Подниекс говорил Руте с торжеством в голосе, что немцы два дня тому назад взяли Даугавпилс, и захватили мосты через Двину, которые русские не успели взорвать. Если так, путь в Латгалию им открыт, и до границы нет шансов добраться. В городе было тревожно, с чердаков и крыш латыши-националисты стреляли по отступающим красноармейцам, и хотя до дома было недалеко, Залман несколько раз слышал выстрелы. Поднимаясь в квартиру, он пони-

мал, что время безнадежно упущено. А с другой стороны — кто его знает, что лучше? Необъятная Россия пугала своим неведомым азиатским пространством и страшными сибирскими лагерями. Может, всё как-нибудь обойдётся? В конце концов, у них в семье немецкий язык, немецкая культура. Правда, самим немецким евреям это, кажется, не очень помогло. Да, положение безвыходное. Нельзя оставаться в Риге, но и бежать некуда. Ловушка. Доктор вспомнил радостные интонации Подниекса, стрельбу в городе. Похоже, латыши решили, что их час настал. Но неужели немцы позволят им безнаказанно расправляться с евреями?

Ту же мысль — о приверженности немцев к порядку — Гольдштейн развивал, вернувшись домой. По его мнению, евреи нужны немцам в качестве даровой рабочей силы, а ещё — как бесплатные специалисты. Если так, они приструнят наиболее ретивых, не допустят спонтанных расправ, а евреям создадут пусть и жёсткие, но достаточные для выживания условия. Увлёкшись, Залман начал говорить, что знает немцев, жил среди них и не может представить их в роли безжалостных убийц детей и женщин. Он начал вспоминать свои студенческие годы в Гейдельберге, но неожиданно резкий голос сына прервал разглагольствование доктора.

— На кого ты надеешься?! Нацисты хотят уничтожить евреев! И среди латышей есть сочувствующие! Они уже не боятся, видят, что происходит! Сразу надо было уезжать, говорил же я тебе, папа! — и Михаэль выбежал в коридор, снимая с вешалки кепку и летнюю куртку. — Не могу я больше здесь оставаться! Уж лучше на фронт! — Мама! Лийка! — Михаэль обнял мать и выскочившую в коридор сестру. — Не беспокойтесь! — выкрикнул он, и на мгновение обернувшись, исчез за дверью.

Всё случилось молниеносно, и лишь увидев рыдающих Фиру и Лию, Залман понял, что сын действительно ушёл из дома. Куда, зачем? Неужели на войну?! В изнеможении он опустился на одинокий стул, стоявший в коридоре, и не сразу услышал негромкий голос жены:

— Ну что, Залман, теперь тебе легче?

Доктор не знал, что ответить. Голова гудела, кровь пульсировала в висках. Неожиданно он подумал, что Фира, кажется, пришла в себя. Слава Богу! Залман готов был выслушать от жены всё что угодно, лишь бы убедиться, что Фира вышла из депрессии.

— Я тебя не виню, — продолжала Фира. — Сама виновата. — Она оглянулась: Лия тихонько плакала в своей комнате. — С того момента как забыла о том, что я жена и мать, что у меня есть вы. С собой занималась. И сейчас, когда война началась, вместо того, чтобы действовать... — слёзы вновь потекли по щекам Фиры. — Я же знаю твой характер: как врач, ты смелый и умный, способен принимать решения, а как глава семьи, — Фира покачала головой, — ладно, не время сейчас. Что можно предпринять?

Залман грустно развёл руками.

— Так я и думала. Вот что, Зяма, теперь ты будешь слушать меня. Собирайся, рано утром уходим.

— Куда? Даже если дойдём до старой границы, там уже будут немцы.

— Знаю. Мне Марта всю неделю новости сообщала. Только я с постели подняться не могла. На восток не пойдём — пойдём на север.

— В Эстонию? — опешил Залман, — Но даже если выберемся из Латвии, на первом же эстонском хуторе нас могут убить, если распознают евреев.

— Я понимаю. И всё же лучше, чем тут сидеть и немцев ждать. Напрасно думаешь, что если говоришь на их языке и Канта в подлиннике читаешь, то тебя пощадят. В Эстонии войны пока нет. Нам в Валку<sup>1</sup> попасть надо: Марта говорит — правительство из Риги туда переехало. А уже оттуда доберёмся как-нибудь до России.

— А Михаэль? — спросил Залман. — Вернётся домой, а нас нет.

Фира снова заплакала:

— Нельзя было его отпускать, — с трудом сказала она — Как ты мог?! Ведь ты же отец — обязан был удержать! Нет, что я говорю?! Разве на тебя рассчитывать можно?! Это я должна была удерживать! Знаешь что, Зяма? Если до ночи Михаэль не вернётся — значит воюет. Ведь для этого он убежал. — И Фира зарыдала, громко и судорожно всхлипывая и размазывая по щекам слёзы.

<sup>1</sup> Город на границе Латвии и Эстонии.

— Сейчас дам успокоительное, — засуетился доктор.

— Не надо, иначе я снова слягу. Ты меня усыпляешь своим успокоительным. Если бы не оно — мы бы уже были в России. Господи! — Фира схватилась за голову, — Ну почему, почему я шла у тебя на поводу?!

Залман мог бы возразить, что Фира, уяснив, что Дина не приедет, сама попросила дать ей таблетку и отключилась от действительности, но услышал требовательный голос жены:

— Ну что ты сидишь? У тебя времени много? Собирайся! Лекарства есть в доме?

Лекарств почти не было, потому что Гольдштейн едва ли не всю домашнюю аптеку отнёс в амбулаторию, после того как её опустошили советские офицеры. Кончилось даже успокоительное, хорошо что Фира от него отказалась. Ничего не говоря жене, он начал собирать вещи, думая при этом, что Фира затеяла настоящую авантюру. До Валки километров сто пятьдесят. Даже если проходить по двадцать километров в день — неделя понадобится. Но куда им? Фира, Лия — сколько они пройдут? Транспорт нужен, хотя бы лошадь. Только сейчас с Фирой говорить невозможно: она в отчаянии и не воспринимает доводы. Уж лучше остаться в городе. Что будет со всеми евреями, то будет и с ними. Кто сказал, что станут убивать? Рассказывали, что в Варшаве создали еврейское гетто, но гетто — это ещё не смерть. Зато по дороге в Эстонию она может поджидать за каждым кустом. Да, Фира права, но права в другом: ему не хватает решимости. Значит, необходимо проявить мужские качества, показать характер. Но думая так, доктор чувствовал, что не может начать разговор. Прошло несколько часов, близился вечер. Послышался гул самолётов, загрохотали зенитки. И когда грохот на некоторое время смолк, раздался стук в дверь. Понимая, что в такое время можно ожидать чего угодно, Гольдштейн осторожно приблизился ко входу и посмотрел в глазок. За дверью стояла Зента.

Залман рывком открыл дверь. Один квартал отделял дом Зенты от дома Гольдштейна, но только что-то очень важное могло заставить жену Балодиса, несмотря на опасность, выскочить на улицу. Полминуты доктор и Зента смотрели друг на друга.

— Можно войти? — спросила Зента.

— Конечно, — засуетился Залман. — Пожалуйста, Зента. Входите.

В коридор выглянула Фира. Зента поздоровалась, Фира коротко кивнула. Смутившись, Зента не знала с чего начать. Молчание затянулось.

— Что-то случилось, Зента? — осторожно произнёс доктор.

— Да. То есть — нет. Ваш сын...

— Боже мой! — схватившись за грудь, Фира рухнула на стул.

— Я хотела сказать, что ваш сын в Рабочей гвардии<sup>1</sup>. Просил сообщить, что у него всё хорошо.

Но Фира смотрела на Зенту так, словно до неё не дошёл смысл сказанных слов.

— Зента говорит, что с Михаэлем всё в порядке, — пришёл на помощь Залман.

— Да, да, — заторопилась Зента, — ваш Михаэль в отряде у Юриса.

— У вашего брата? — ещё больше удивился Гольдштейн.

— Да. Юрис к нам заскочил и случайно увидел на Тербатас Михаэля. Ваш сын из дома-то убежал, только далеко не ушёл. Наверно, растерялся. Хорошо, что Юрис его узнал. Он с ним поговорил и взял к себе. Не беспокойтесь, ваш мальчик не один. Вот, — снова замялась Зента, — прибежала вам сказать.

О том, что она просила брата опекать Михаэля, Зента говорить не стала.

— Но ведь Юрис был айзсаргом<sup>2</sup>. Я сам видел его в форме, — не мог успокоиться Залман.

---

<sup>1</sup> Отряды советских активистов, созданные в начале войны в Латвии.

<sup>2</sup> Военнизированное национальное ополчение в довоенной Латвии.

— Я тоже ничего не знала. А Юрис, оказывается, подпольщиком был. Как там у них? Комсомольцем, — Зента с трудом произнесла это слово. — От всех скрывал, никто из наших родных и представить себе не мог, что Юрис с коммунистами свяжется. Ведь отец наш покойный в девятнадцатом против большевиков воевал, потом в полиции служил. А к айсаргам Юриса организация послала. Им нужны были там свои люди. Ну, а когда Советы пришли, Юрис (Зента снова запнулась) каким-то комсомольским начальником стал на «Вайрогсе»<sup>1</sup>. Он, когда война началась, отряд Рабочей гвардии из заводских организовал. Сейчас они у Центрального рынка: железнодорожный мост защищают. Извините, побегу я, доктор. Темнеет уже.

— Конечно, Зента. Не знаю, как благодарить. Ведь мы тут с ума сходим.

Зента посмотрела на Залмана долгим взглядом. Это не укрылось от Фиры, а Гольдштейн почувствовал волнение. Неужели всё дело в нём? И неостывшее чувство к нему — это то, что руководит Зентой? Всё равно, неважно! Если бы не Зента, они бы ничего не знали о сыне.

— Утром мы уходим из города. Если Михаэль...

— Как уходите? — не поняла Зента. — Пешком? Куда?

— К эстонской границе, — пояснил Залман.

— Вам туда не добраться. Хотя бы повозка нужна, — Зента буквально повторяла то, о чём незадолго до этого думал доктор. — Знаете что — я, кажется, смогу помочь. Только надо будет хорошо заплатить, если кое-кто согласится. Очень хорошо.

Гольдштейн кивнул.

— По-моему, есть один, — торопливо проговорила Зента. — Не двигайтесь никуда, пока я не сообщу. Завтра утром будьте готовы и ждите, — добавила она и исчезла за дверью.

— Зента, — задумчиво сказал доктор, — она...

— Всё ещё любит тебя, — едко произнесла Фира.

---

<sup>1</sup> Вагоностроительный завод.

Залман снова, в который раз, мог бы ответить, что не он заваривал кашу, но обстановка не располагала. Мрачные предчувствия одолевали, томила тревога. Ночь прошла в беспокойстве. Большинство вещей пришлось оставить. Увидев, как Лия укладывает в сумку две самые любимые книги, доктор едва сдержался, чтобы не завывать. А в четыре утра в дверь позвонила Марта.

— Быстрее, доктор! — почти закричала она. — Мой брат говорит: поезд стоит на вокзале! Вот-вот отойдёт на восток! Скорее! Петерис поможет! Только осторожнее — в городе стреляют!

Долговязый Петерис — служивший дворником муж Марты, схватил два чемодана, и Залман, Фира и Лия, прихватив что попало под руку, выбежали за ним. Почти два квартала нужно было пройти до улицы Кришьяна Барона и ещё несколько кварталов до Мёркеля, откуда уже виднелась Вокзальная площадь. Шёл бой, в Задвинье стреляли. Стреляли и в центре, и доктору казалось, что каждый выстрел предназначается им. Когда все четверо, выбиваясь из сил, наконец-то выскочили на перрон, последний, неизвестно откуда взявшийся эшелон уже отходил, подавая тревожный паровозный сигнал. Теперь можно было надеяться только на Зенту.

— Опоздали! — Петерис произнёс это так, словно он был виноват в том, что поезд ушёл.

Фира в изнеможении села на чемодан и закрыла лицо руками. К ним подошёл человек в одежде железнодорожника.

— Здорóво, Ёндул! — приветствовал его Петерис. Железнодорожник был братом Марты.

— Будет ещё поезд? — спросил доктор, хотя заранее знал ответ.

Ёндул покачал головой и так же молча показал рукой в сторону Задвинья, откуда доносились выстрелы.

— Что же ты раньше не сообщил? — накинулся на него Петерис.

— Да как тут сообщишь? Не видишь, что творится? Тебе-то поезд зачем? А про доктора вашего вспомнил, когда увидел, как евреи ва-



гоны штурмом берут. Поезд-то не для них подали, а для большевиков драпающих. Но и жида, — покосившись на Гольдштейнов, железнодорожник на секунду запнулся и, махнув рукой, продолжал, — многие сели. Сменщик мой домой ушёл, на Стáбу, так я его попросил передать.

Ничего не ответив, Петерис снова взялся за чемоданы. Отошедший от Центральной станции эшелон ещё долго стоял в черте города на узловой станции Земита́ны. Но кто мог об этом знать? Стрельба усиливалась, нужно было спешить. Доставив Гольдштейнов обратно, Петерис спустился к себе.

— Уехали? — бросилась к нему Марта.

— Не успели.

— Господи! Что же будет?

— Доктор говорит — Зента обещала повозку. Подождём.

Из соседней комнаты вышел Янцис в сапогах и перетянутом поясом широковатом пиджаке. Семнадцатилетний сын Петериса и Марты не спешил разделять обеспокоенность родителей судьбой еврейского семейства.

— Что вы так за жидов трясётесь? Скоро им всем конец. Немцы уже в Задвинье.

— Сыночек! Ну что ты говоришь! — подняла голову Марта. — Разве доктор тебя не лечил? А с Михаэлем вы вместе играли...

— Сейчас заплачу, — осклабился Янцис. — Рабы вы, рабы! Привыкли на евреев работать. Забыли, что вы латыши, что эта земля — ваша! Нашли себе хозяев! Слишком хорошо им жилось в нашей Латвии на горбу у таких, как вы. Ничего, теперь, когда московские коммунисты, которых они к нам привели, убегают, мы с ними за всё рассчитаемся.

— Эй, Янка! — Петерис только сейчас заметил необычный вид сына. — Ты куда, парень, собрался?

— Туда, где латыши за родину бьются!

— Ах ты, сопляк, — схватился за метлу Петерис, — сейчас я тебя...

Но Янцис, хотя и худой, но уже догнавший Петериса ростом, одним движением выхватил метлу из рук дворника, сломал её о колено и, остранив остолбеневшего от неожиданности отца, выскочил за дверь. Постояв с минуту на улице, он побежал в сторону Центрального рынка.

Повозка действительно появилась и остановилась у дома Гольштейна как раз в тот момент, когда доктор подумал, что Зента, похоже, ничего не смогла сделать. Невысокого роста темноволосый извозчик поднялся по лестнице и встал у двери, угрюмо глядя на неработающий лифт. За ним стояла Зента.

— Это Óльгерд, — сказала Зента, когда открылась дверь. — Он доведёт вас до Валки.

— Тысячу латов, господин доктор, — потребовал Ольгерд, — и это ещё не так много. Слышите? У Старого города бой идёт. Советские деньги не возьму, теперь они — мусор. Давайте пока половину, остальное — в конце пути. Если, даст Бог, доберёмся.

Доктор начал благодарить, но извозчик хмыкнул:

— Благодарите её, — и кивнул на Зенту. Оглядев пожитки Гольштейнов, добавил:

— Лошадь не потянет. Одних только вас трое. Ну? Что делать будем? — И не дожидаясь ответа, взялся за самый большой узел:

— Впрягу вторую лошадь. Ещё пятьсот, доктор. Надо бы тысячу, да вы моего племянника когда-то вылечили. Не помните? Ладно, зато я помню. Ну так что? Быстрее давайте!..

Но и две лошади не так быстро тянули воз по запруженной Псковской дороге. По ней отступала армия, и шли гражданские, с опаской поглядывая по сторонам, где тёмный лес мог скрывать вооружённых людей, сидящих в засаде. В этот день проехали немного: у развилки, откуда шла дорога через Валмиеру на Валку, завернули на хутор, хозяина которого Ольгерд, по его утверждению, знал.

— Переночуем, — сказал извозчик, — а завтра прибавим шаг.

Лёжа на сене и уже засыпая, Залман вспомнил, как Зента, прощаясь, на мгновение прижалась к нему всем телом. Фира не видела: она вдруг спохватилась и побежала в спальню. И ещё он подумал, что возможно удастся добраться до Валки. Если повезёт.

А Фира думала о сыне. Ушёл воевать. С коммунистами ушёл. А мог быть сейчас в Палестине, учиться в Еврейском университете. И Лия... Ну и что с того, что она с ними? Все они в опасности, в любую минуту их могут убить. Фира чувствовала, как её охватывает раздражение. Залман! Это из-за него они не уехали вовремя! Тогда, в 39-м. Она вспомнила слова мужа: «Сейчас, когда всё хорошо, когда у моей клиники такая известность — как можно это оставить? А дети? У них привычная жизнь, учёба — каково им будет там, где всё по-другому? В арабской наполовину стране, где осёл перекривает муэдзину, и наоборот?». Глупец, настоящий глупец! Иметь на руках сертификат и не воспользоваться им! Но ещё большую глупость совершила она! Непростительную, смертельную глупость! Почему не уехала с Йосэфом? Его не смущало то, что у неё дети. Наоборот, он хотел, он был бы рад. А она? Больше, чем за детей, из-за мужа переживала, а он разве стоил того? О себе тревожился, о своих привычках и удобствах. Уж если не смогла с ним расстаться, так влиять надо было, держать в руках ситуацию. Есть много методов воздействия на мужчин с недостаточной волей. Но думая так, в глубине души Фира, как и прежде в моменты мучительных размышлений, знавала, что не уехала бы с Йосэфом, оставив Гольдштейна, и не стоит напрасно себя терзать. Ну, хорошо, а сейчас? Началась война, а она неделю в постели лежала! Депрессия, видите ли! Это из-за неё упущено время! Так может не Залмана надо винить, а себя?

А ещё Фира думала о родственниках. Что теперь будет с ними? Марта сказала, что за три дня немцы заняли всю Литву. Если бы Айзексон не упрявился, если бы Дина забрала маму раньше, всё могло бы сложиться иначе. Но нет, Юде, этому местечковому деятелю, нужно было показать свой скверный характер, испортить всем нервы, зря тратить драгоценное время и только потом согласиться! И хуже того: он молчал о том, что японский консул выдаёт визы! Скрыл от них последнюю возможность! А Дина — какое несчастье, что они не успели приехать! Были бы сейчас вместе. О том, что мама

не встаёт с коляски, что с ней невозможно двинуться в путь, Фира словно забыла. Изводя себя, она не знала, что эгоист и упрямец Юда Айзексон жив, только сильно страдает от духоты и жажды по пути на восток в товарной теплушке, куда перед самой войной его доставили под конвоем из вильнюсской тюрьмы НКВД. Не знала Фира и то, что её больную мать вооружённые литовцы уже несколько дней тому назад сбросили вместе с инвалидной коляской со второго этажа, а Дину с сыновьями и других евреев загнали во двор гаража и там убивали железными прутьями и накачивали водой из шлангов, пока людей не разрывало на части.

На рассвете возница растолкал своих пассажиров. Нужно было двигаться. Залман заплатил за постой. Хозяин хутора тщательно пересчитал латы, принёс каждому по тарелке скáбпутры<sup>1</sup> и внимательно оглядел семейство Гольдштейна:

— Куда путь держите? — спросил он так, словно не спрашивал вчера то же самое у Ольгерда.

— Говорил же я тебе вчера, Ймант: нам до Валки добраться надо, — отозвался извозчик.

— Так-так, — задумчиво проговорил хозяин и поманил Ольгерда, — зайдём-ка в дом, покажу тебе кое-что.

— Так ехать надо. Времени мало.

— Успеете.

Дома Ймант схватил Ольгерда за отворот потрёпанного пиджака:

— Ты что? Совсем мозги потерял? Из-за жидов погибнуть хочешь?

— Ещё дня два и, даст Бог, доберёмся.

— На тот свет доберётесь. Твои евреи и ты вместе с ними. Немцы Даугаву вчера перешли у Кру́стпилса. На север идут, раньше вас в Валке будут. Поворачивай назад, не дури. Их танки быстрее твоих кобыл.

— А может всё-таки успеем?

— К Лайме<sup>2</sup> за счастьем успеешь. Я тебе не всё ещё сказал. В седней волости советов уже нет. Там лейтенант Зигис Линде командует. Попадёте к его ребятам — считайте, что приехали.

<sup>1</sup> Традиционное латышское блюдо.

<sup>2</sup> Богиня счастья в латвийской мифологии.

— Но русские вчера ещё шли по Псковской дороге.

— Может и сегодня идут, а что толку, когда немцы в любую минуту наперерез выскочить могут. Давай, давай, поворачивай, не глупи!

Растерянный Ольгерд вышел на улицу. Он видел взволнованные лица доктора, его жены и дочери и не знал, что им сказать. Жестом указал на повозку и сам вскочил в неё. «Нужно выехать на дорогу, — подумал он, — а там посмотрим».

Но дорога кишела уходившими из Риги войсками и населением, среди которого было заметно изрядное количество евреев. От развилки шли два потока: на Псков и на Валку, причём большинство гражданских двигалось по Псковскому шоссе. «Лучше бы и нам прямо на Псков, — подумал Гольдштейн, — только на чём? До Валки еле нашлась повозка». Доктор не знал, что конец их пути уже близок.

«Наши-то латыши вряд ли здесь нападут, военных много, — вертелось в голове у извозчика, — а вот немцы... Что если вправду путь перережут? Или в Валке раньше нас будут? В такой толпе не разго-нишься». Поколебавшись немного, Ольгерд остановил лошадей.

— Возвращаемся, господин доктор, — сказал он негромко.

— Почему?! Что случилось?!

— Не успеем. Немцы Даугаву перешли. К Псковскому шоссе приближаются. А там и до Валки недалеко.

На самом деле успеть они могли. Прошло ещё несколько дней пока немцы перерезали Псковскую дорогу. Валку они заняли 5-го июля. Но напуганный Ольгерд не хотел рисковать. Фира отрешённо молчала. Казалось, что она снова вошла в своё прежнее состояние, а выбитый из колеи Залман благодарил судьбу хотя бы за то, что струсивший извозчик успел получить лишь треть запрошенных им денег. С трудом пробираясь назад и то и дело съезжая на обочину, Гольдштейны вернулись домой. А утром следующего дня прозвучавший по радио латвийский гимн возвестил о вступлении вермахта в Ригу.

## Глава девятая

Легковая машина двигалась по узкой и пустынной лесной дороге, и Мара с тревогой поглядывала в окно. И не только она. Нервно начал водитель. Несколько минут тому назад он чуть было не съехал в кювет. Но больше всех беспокоился сержант-энкаведист. С неприязнью поглядывал он на Пинхуса, из-за которого они оказались одни среди леса. Машина следовала в Валку, где уже находились ответственные партийные работники, но Пинхусу обязательно нужно было заехать в Цесис и взять дополнительную партию документов. Только поэтому они отклонились от маршрута и очутились на просёлочной дороге. Пинхус полагался на шофёра, но тот — красноармеец, русский парень, не знал, как выехать из незнакомого латвийского города. Следовало вернуться в горком и уточнить направление, однако Пинхус не хотел терять время и окликнул местного жителя. Последний с готовностью указал дорогу, походившую, скорее, на лесную просеку, и не было никакой уверенности, что она приведёт их в Валмиеру, через которую лежал путь на Валку. Внезапно машина остановилась.

— В чём дело? — резко спросил Пинхус.

— Заблудились, товарищ Цвиллинг. Возвращаться надо, — сказал водитель.

— Он прав, — поддержал водителя сержант, — этот гад нас специально сюда послал. Дальше ехать нельзя.

Пинхус и сам понимал, что водитель прав. Он уже хотел дать команду развернуться, когда на дороге появился крестьянин, рядом с собой кативший велосипед. Увидев машину и военных, крестьянин подошёл ближе.

— Куда направляетесь, товарищи? — полюбопытствовал он, выражая явное желание помочь.

— Нам в Валмиеру надо, — ответил Пинхус. — По этой дороге доберёмся?

— Доберётесь, — заверил крестьянин. — Не смотрите, что это лесная дорога. Километров через пять она в шоссе упрётся. А там, на шоссе — направо. Да не глядите вы так! Я — Август Муйжниек, секретарь волостного совета. А это, — он показал на подходившего к ним светловолосого парня в длинном плаще, — командир истребительного отряда Зигис.

— А где ваш отряд?

— Да рядом, — улыбнулся Зигис. — Скоро увидите. Мы тут сосредоточились, чтобы лес прочесать. Говорят, бандиты неподалёку. Может, вас проводить? Я дам двух бойцов.

— Места в машине нет, А за предложение — спасибо.

— Ну тогда — счастливого пути! — продолжая улыбаться, напутствовал Зигис.

Пинхус даже себе не мог объяснить, что ему не понравилось в Зигисе. Потребовать документы? Но парень явно не один. А если это не истребительный отряд, а банда? «Скоро увидите»... Неужели они попали в засаду?

Сделав прощальный жест, Зигис и Муйжниек отошли от машины.

— Разворачивайся! — приказал шофёру Пинхус. — Быстро как только можешь!

Последние слова были лишними. То что надо разворачиваться, водитель понял раньше Пинхуса, но времени уже не оставалось. Раздался свист, и с двух сторон, сзади и спереди автомобиля, на дорогу выскочили те, кого Зигис называл истребителями. Многие из них были в латвийской военной и полицейской форме и в униформе айзсаргов. Пули, выпущенные из автомата, прошили шофёра, и он упал головою на руль. Хватая левой рукой ПППШ, а правой открывая дверь, сержант выкатился наружу и залёг у машины, стреляя короткими, отрывистыми очередями в подбегающих латышей. С другой стороны стрелял Пинхус. Воспользовавшись тем, что нападавшие тоже залегли, Мара, прикрывая своим телом Розу, сумела выползти из машины и спрятаться вместе с дочкой в придорожном овраге.

Но неравный бой продолжался недолго. Первым погиб сержант. Пинхус понял это, когда позади него прекратилась стрельба. Ему самому оставалось жить несколько минут, и за это время он успел уложить двоих, пока подкравшийся сзади айзсарг не убил его выстрелом в затылок. Мара заставила Розу закрыть глаза, а сама видела всё. Спустя короткое время её и дочь выволокли из оврага. К ним подошёл Зигис. Сняв плащ, командир нападавших остался в офицерском мундире.

— Какие потери? — спросил он у кого-то.

— Трое убитых, четверо раненых, господин лейтенант!

— Проклятье! А этот, похоже, еврей, — лейтенант пошевелил носком сапога труп Пинхуса и повернул к Маре открытое, совсем не злое лицо. — Ваш муж, мадам, — то ли спрашивая, то ли утверждая, произнёс он.

Мара молчала.

— Сначала мы с тобой позабудемся. Но насиловать будем не тебя, а советскую власть, которую жида привели к нам в Латвию, — довольный удачным сравнением, Зигис захохотал. — Только я не хочу, чтобы твоя дочь это видела. Лаймонис, позаботься о ребёнке.

Подошедший Лаймонис, не говоря ни слова, оторвал Розу от матери и, проткнув штыком, поднял её над головой. Пройдя несколько шагов и неся девочку на штыке, как знамя, он сбросил её в канаву.

Мара стояла, оцепенев. Она умерла ещё в тот момент, когда убили Пинхуса, но на землю упала лишь тогда, когда лейтенант навалился на неё всем телом, раздирая наглухо застёгнутое летнее пальто. Она не чувствовала боли, у неё больше не было никаких ощущений, и она не отбивалась, потому что ей обязательно нужно было просунуть руку в боковой карман. И когда ей удалось это сделать, она выхватила медицинский стилет, который положила на всякий случай в карман перед отъездом, и точным движением профессиональной медсестры — последним в жизни движением — воткнула длинное острие прямо в печень Зигиса...



1-го июля, не сумев взять правобережную часть Риги любовым ударом и совершив удачный обход с юго-востока, немецкие войска вступали город. Толпы народа: мужчины, часть из них в униформе «айзсаргов» с дубовыми листьями в петлицах и женщины в национальных костюмах приветствовали освободителей. Звучали народные мелодии, латышские флаги и немецкие знамёна со свастикой развевались вокруг. В этот день звонили колокола, по-особому светило полуденное солнце, и казалось, что горячие, не столь уж частые для этих мест лучи, тоже вливаются в царящую на улицах радость. Но если латыши, полные ожидания и надежды на восстановление Латвии, выходили из домов, наслаждаясь праздничной обстановкой и тишиной, наступившей после недельной канонады, то для евреев не было большего риска, чем показаться на улицах города: опасность подстерегала всюду. И всё-таки Залман решился. По мнению доктора, безукоризненный немецкий язык и нетипичная внешность должны были гарантировать, что с ним ничего не случится. После неудачной попытки эвакуироваться трудно было проводить всё время в квартире. Фира лежала в спальне и, казалось, не проявляла никакого интереса к происходящему. Там же находилась и Лия: она боялась подолгу оставаться одна в своей комнате. А Михаэль со своим отрядом накануне вечером одним из последних ушёл из Риги. Он ещё успел попрощаться с родителями и сестрой, почти сразу же после того как они вернулись домой. И это было настоящим счастьем.

Залман решил, что если всё будет спокойно, нужно явиться на работу. Ключи от амбулатории он прихватил с собой. Доктор ещё не понял, что с этого дня постоянной спутницей еврея становится смерть, что она сопровождает его по улицам города от самого дома.

Молодые латыши и латышки бросали цветы на дорогу, по которой шли немецкие части. Они полагали, что в Латвию пришли освободители, что их любимая родина снова станет независимой. Моторизованные отряды проезжали по городу, и народная толпа восторженно приветствовала их. По улице Бривибас шла группа вооружённых латышей. Они остановились у бывшего дома НКВД, где не так давно побывал Гольдштейн. Один из них обратился с речью к толпе, которая собралась вокруг. Он призывал соотечественников начать борьбу вместе с немецкими друзьями против внутреннего врага:

коммунистов и евреев. К собравшимся присоединялись новые толпы, то и дело слышались восклицания: «Латвия снова свободна! Да здравствует наш освободитель Адольф Гитлер! Долой евреев и русских!» На другой стороне улицы в каком-то доме работал приёмник, и из открытого окна доносился взволнованный голос:

«Наша страна свободна! Конец еврейскому садистскому режиму. Я призываю всех латышей, которым дорога их страна, собраться возле Пороховой башни. Дальнейшие инструкции получите. Латыши, если вы знаете русские склады с оружием, то поставьте об этом в известность новые власти. Нам нужен каждый пистолет, каждый патрон».

Продолжая путь, доктор видел евреев, которых латыши при полном одобрении и гоготе немцев вытаскивали из очередей, стоявших у продовольственных магазинов, и заставляли подметать улицы. Группа еврейских женщин и детей чистила немецким офицерам сапоги. А неподалёку тем же самым занимался старый пациент Залмана и давний партнер по игре в покер господин Майзель. Его жена-латышка стояла в стороне. По её щекам текли слёзы. Увидев доктора, она еле уловимым жестом показала, чтобы тот не останавливался. Но главное событие дня ожидало Гольдштейна дальше. Пройдя по Бривибас в сторону центра и дойдя до улицы Дзёрнаву, Залман увидел, как два молодых вооружённых латыша в униформе айзсаргов волокут окровавленного человека. Именно волокут, потому что передвигаться самостоятельно несчастный не мог. Толпа раздалась, и парни втоптали свою жертву в круг, бросив её на тротуар чуть ли не к ногам стоявших в окружении ликующих рижан немецких офицеров. Один из них отскочил: видимо, кровь попала на начищенный сапог, и он что-то резко сказал айзсаргу. Гольдштейн ожидал продолжения. Он ждал, что немцы, за отсутствием других представителей власти, немедленно прекратят самосуд, но ничего похожего не произошло. Другой офицер обратился к айзсаргам, и они, не мешкая, прикладами добились то, что ещё оставалось от Бернарда Шимоновича, элегантного владельца парикмахерской, давнего знакомого и пациента Гольдштейна, которого врач узнал по плащу: такой модный светлокоричневый летний плащ был только у Шимоновича. И пока латыши делали своё дело, немцы смеялись и фотографировали, а когда всё было кончено, кто-то запел: «Боже, благослови Латвию!», и подхваченные толпой звуки латышского гимна увенчали расправу.

Потрясённый Залман прислонился к стене, не в силах двинуться дальше. Он спрашивал себя, что делал Шимонович в такой день на улице, зачем он вышел из дома, забыв о том, что его самого понесло в город непонятно почему. А может, парикмахера вытащили из квартиры? Скорее всего нет, ведь он был в плаще. Значит, Шимонович, как всегда, пошёл в свою парикмахерскую, и его схватили, опознав в нём еврея. Гольдштейн прикрыл глаза. Он уже успел создать в воображении образ несущей порядок немецкой армии, и сейчас реальная, а не воображаемая действительность смотрела ему в лицо. И всё же он в своих метаниях от отчаяния к надежде, продолжал убеждать себя, что это война, а на войне возможны эксцессы. Он доказывал себе, что армию тоже накачали пропагандой, но придёт уполномоченная восстановить порядок администрация, и всё изменится. Несмотря на то что он своими глазами видел изуродованное тело парикмахера, доктор Гольдштейн всё ещё продолжал пребывать в мире иллюзий. Он не осознавал в каком опасном положении оказался, подпирая стену на глазах у разгорячённой кровью толпы. Наконец, еле оторвавшись от гладкого камня, доктор повернул налево и окружным путём вернулся домой, ещё окончательно не понимая, что нужно благодарить судьбу, за то что никто не тронул его в этот страшный для евреев день.

С трудом поднимаясь по лестнице, Залман вспомнил о сёстрах, с которыми накануне несостоявшейся эвакуации успел поговорить по телефону. Несмотря на бои, телефонная связь в городе работала. Гита, у которой после смерти отца жила мать доктора, была уверена, что принадлежность к немецкой культуре даст им определённые преимущества, и даже не помышляла о бегстве, как она говорила, в «ледяную Тартарию». А младшая сестра, Мирьям, простодушно рассуждала, что такому уважаемому человеку, как её муж, который одинаково помогал всем, и евреям и неевреям, вряд ли что-нибудь угрожает. Гольдштейну очень хотелось согласиться с Гитой, хотелось поверить Мирьям, только в душе шевелились сомнения, которые, особенно после сегодняшней прогулки, упорно не давали покоя, как бы ни пытался доктор загнать их куда-нибудь подальше. И всё же он старался привести себя в порядок. Кто знает, что ещё предстоит? На нём ответственность. Михаэля нет, но с ним Фира и Лия. Войдя в квартиру, Залман ощутил странную тишину, словно

кроме Михаэля ещё кого-то не хватало в доме. «Ах да, — вспомнил он, — Марга не приходила. Доктор прошёл по коридору и вошёл в спальню. Фира стояла у стены. Она ничего не говорила, только билась головой об стену. Лия в страхе смотрела на неё.

— Папа! — бросилась к доктору дочь. — Маме плохо!

Но доктор видел сам, что у Фиры начался нервный срыв. Мягко взяв жену за плечи, он уложил её в постель. Фира не сопротивлялась. Залман бросился за успокоительным, и в ту же секунду у него пересохло в горле. Он с ужасом вспомнил, что лекарства нет. Боже, какой же он идиот! Ничего, ничего не оставил дома. Нужно идти в амбулаторию. Это недалеко, но как добраться, когда такое происходит в городе? Вероятно, (ему снова отчаянно хотелось в это поверить) скоро всё изменится, и будет порядок, а пока... Что же всё-таки делать? А может быть дома что-то осталось? Завтра утром он обязательно пойдёт на работу, и вообще его место там. Именно в такие дни надо быть на своём месте. Гольдштейн всё ещё не мог смириться с тем, что он изгой, что эта страшная дата, 1-е июля 1941 года, отделила евреев Риги от остальных жителей города, разделила на тех, у кого есть право на жизнь, и на тех, у кого нет такого права.

— Доченька! — позвал он Лию. — Посмотри! В мамином трельяже есть капли?

— Нет, папа, — Лия старательно осматривала ящики. — Ой! Кажется, нашла!

Это были валерьяновые капли. Залман решил, что пока и этого хватит, а завтра он принесёт с работы лекарство получше. Во что бы то ни стало принесёт. Главное — успокоить Фиру и ни в коем случае не рассказывать о том, что он видел сегодня.

## Глава десятая

Вопреки расчётам доктора, ему и на следующий день не удалось добраться до амбулатории. Состояние Фиры было неустойчивым, депрессия сменялась повышенной активностью, и её нельзя было оставлять одну. Все свои знания, всё умение Залман употребил на то, чтобы вывести жену из опасного состояния, но результат был скромным. Ночью доктор почти не спал. Валерьянка немного помогла, но Фире всё ещё было плохо. Временами её бил озноб. С Залманом она почти не разговаривала. Что можно было ему сказать? Ведь Фира и раньше чувствовала, что если они не уедут, то попадут в капкан. Никогда не испытывала она такого ужаса, как тот что охватил её теперь, когда предчувствие сбылось. Она не давала себе пощады и вновь и вновь раскаивалась в том, что позволила мужу тянуть время. Вспоминая Михаэля, Фира верила, как будто чуяла материнским чутьём, что сын уцелеет, а есть ли такой шанс у них? А ещё она думала о брате. Давид сделал всё возможное и невозможное, для того чтобы помочь им уехать. Он предупреждал, что у них мало времени, а они? Неужели и в самом деле всё кончено? Она снова вспомнила о матери, о Дине, о том что она ничего о них не знает и теперь уже не узнает. Неожиданно ей пришла на ум одна мысль, она вертелась у неё в голове, и внезапно Фира почувствовала себя лучше: ей стало казаться, что открывается путь к спасению.

Как врач, Залман понимал, что без лекарства не обойтись. Надо было идти. Ещё раз попытавшись успокоить Фиру и объяснив Лие, что надо делать, если повторится вчерашний эпизод, Гольдштейн вышел на улицу Стабу. Он решил идти через длинный проходной двор, соединявший улицы Стабу и Гертрудинскую. Если пройти через двор — амбулатория рядом. Он иногда пользовался этим проходом, когда спешил. Интересно, находится ли кто-нибудь на работе? Если не доктор Подниекс, может быть сестра Руга пришла? Мара — вот кого ему действительно не хватает! И всегда не будет хватать. Добрались ли они?

Залман никак не мог забыть, каким было лицо Мары, когда она пришла попроситься, но старался отгонять плохие мысли.

На счастье доктора в проходном дворе никого не было. Через несколько минут, подойдя ко входу, он уже вставлял ключ в замочную скважину. Но ключ не подходил. Ничего не понимая, Залман продолжал напрасные попытки, не думая о том, что если его увидят за такого рода занятием и опознают в нём еврея, то участь бедного Шимоновича ему обеспечена. Он всё ещё не понимал, что кто-то сменил замок, и неизвестно, чем бы это закончилось, если бы дверь не раскрылась, и на пороге не появилась Рута.

— Что вам надо? — грубо спросила она.

Только сейчас Гольдштейн по-настоящему понял, как теряют дар речи: от неожиданности он не мог произнести ни слова.

Рута посмотрела на Залмана, и от её холодного, брезгливого взгляда доктора охватил ужас.

— Рутиня! — послышался мужской голос изнутри. — Кто там?

— Гольдштейн.

— Пусть зайдёт.

Рута посторонилась, пропуская Залмана, и бывший владелец и заведующий, стараясь взять себя в руки и не очень в этом преуспевая, вошёл в свою клинику. Первое, что он увидел, был большой и пустой шкаф, где хранились медикаменты. Небольшая горка лекарств лежала на столе.

— Кто вам позволил отдать медикаменты русским? — тоном человека, облечённого правом решать судьбы других, спросил доктор Подниекс.

Залман хотел объяснить, что он, заведующий, не должен был спрашивать позволения, но Подниекс не дал ему ответить:

— Это вредительский акт. Вы заслуживаете самой суровой кары. Вы — вредный элемент, Гольдштейн. Как, впрочем, все ваши соплеменники.

Насладившись произведённым эффектом, Подниекс прошёл в кабинет Залмана и сел в его кресло:

— А помните, как пару лет тому назад я вам говорил, что не удивлюсь, если через два-три года Гитлер будет здесь, только не всем от этого будет хорошо. Так и получилось. Вот вы, например — стоите сейчас передо мной, и больше ничего здесь вашего нет! И никогда не было. Латвия — для латышей, господин Гольдштейн.

— И для меня Латвия не чужая. Я за неё воевал. Две медали имею.

— Поэтому я с вами пока ещё разговариваю. Пока. И знаете что? Хочу у вас спросить. Почему вы только и делали, что присасывались к земле, которая не ваша? Впивались в неё, размножались, как бактерии. Потому что у вас нет своего государства? А вам оно нужно? Если бы вы его по-настоящему захотели, оно бы давно у вас было. Но вы же трусы и торгаши, и будь у вас своя страна, вы бы продали и её. Впрочем, какая теперь польза от дискуссий? Ведь с вами всё кончено. Повезло вашей Маре: успела сбежать со своим коммунистом. Вы, Гольдштейн, её пригрели, знали, что она — жена преступника. Жаль, что не удалось с вами раньше разобраться. А знаете, — продолжал, улыбаясь, Подниекс — это я донёс на вас в НКВД. Только не учёл, что и там — еврейская банда! Тогда вам удалось выкрутиться, но сегодня вам никто не поможет. Теперь даже ваш бог не поможет вам. Кстати, Гольдштейн, а почему вы всё-таки не уехали? Советы пришли? Но вы не очень-то и хотели. А ведь напрасно, напрасно вы не уехали. Ну, всё! Время разговоров кончилось! Следовало бы позвать сюда наших людей и отправить вас в тюрьму, но я не стану этого делать. Всё-таки мы проработали вместе много лет. Убирайтесь отсюда и как можно скорее! А это что? — Подниекс указал на большую сумку, стоявшую у стены.

— Медикаменты. Моя домашняя аптека.

— Она останется здесь.

— Но мне надо иметь дома хотя бы немного лекарств, доктор Подниекс. Я вас очень прошу.

— Что? Да вы совсем обнаглели! Ограбили нас и ещё просите. Вон!

Гольдштейн хотел что-то сказать, но понял, что любое лишнее слово будет истолковано Подниексом не в его пользу. Он повернулся и пошёл к выходу. Уже открывая дверь, услышал голос Руты:

— Ты зачем отпустил жида, Густав?

Ответа доктор не расслышал.

Залман плохо помнил, как он дошёл до дома. На него никто не обратил внимания, но доктор был так потрясён, что даже не придавал этому значения. Подниекс, Рута! Они были не просто его работниками и коллегами, они были его второй семьёй, он относился к ним, как к родным. Вот значит как! Латвия для латышей, а с ним, доктором Гольдштейном, который в 19-м на фронте латышских бойцов от смерти спасал, и потом стольким латышам помогал, с ним, значит, всё кончено! Но Подниекс прав. Почему они не уехали? Потому что он, Залман, долго не хотел. А когда решился — времени не хватило, и корабль в Палестину ушёл без них. Не в этом ли заключается страшная ирония, не так ли наказывает Бог? Доктор поймал себя на том, что стал думать о Боге, раньше он мало о нём думал. Войдя в квартиру и не забыв помыть сразу же руки, Залман прошёл в спальню. Дочери в комнате не было. Фира сидела у зеркала.

— Зяма, — голос жены казался чужим, в нём появились новые ноты. — Ты принёс лекарства?

— Клиники больше нет. И медикаментов нет. И меня, доктора Гольдштейна, тоже нет, Фира.

— Что это значит?

— Это значит, что теперь хозяин — Подниекс, и это чудо, что я сейчас дома.

Фира не ответила, а может и не расслышала, думая о своём.

— Зяма, — вновь заговорила она, — где сертификат?

— У меня в кабинете, — Залман не понял, почему жена об этом спрашивает, — а что?

— Если мы им покажем сертификат, может быть нас отпускают в Палестину? Они не хотят здесь евреев, так пусть дадут нам уехать.



Залман подумал, что сходит с ума. Нет, это не он сумасшедший. Что-то случилось с Фирой. Как пришла к ней эта безумная мысль? Сейчас, когда они совершенно беззащитны, и с ними можно делать всё — кто позволит им уехать?!

Доктор уже открыл рот, чтобы объяснить жене, что сертификат — это даже не соломинка, за которую могут ухватиться они, утопающие без всякой надежды на спасение. Но что-то ему помешало. Внезапно он подумал, что в словах Фиры есть смысл. У них имеется документ. У немцев всегда было серьёзное отношение к документам. Залман слышал, что в своё время, после присоединения Австрии к Германии, некоторым австрийским евреям удалось уехать. Они имели на руках документы, где было указано, что то ли Америка, то ли Палестина, то ли кто-то ещё готов их принять. Такой же документ есть у Гольдштейнов. Но к кому обращаться сейчас, на третий день оккупации? С кем говорить? Нет, надо ждать, пока начнут работать учреждения. Не то полиция, не то какая-то другая служба — кто-то же должен этим заниматься.

Но долго ждать доктору не пришлось: в тот же день, около пяти часов вечера, раздался громкий звонок, сопровождаемый стуком в дверь.

На пороге стоял немецкий офицер в сопровождении солдата. За ними вырисовывалась длинная фигура дворника Петериса. Повелевающим жестом приказав Гольдштейну посторониться, немцы вошли в прихожую. Петерис протиснулся за ними.

— Кто здесь живёт? — спросил офицер, и видя что Петерис медлит с ответом, рявкнул, — Ну!

— Доктор Гольдштейн, господин офицер, — ответил, наконец, Петерис.

— Доктор? — немец повернулся к Гольдштейну и слегка улыбнулся. — Я тоже доктор. У вас большая квартира?

— Четыре комнаты и гостиная, господин офицер.

— Четыре? Очень хорошо. Мы разместимся у вас. Вы, конечно, не будете возражать?

Залман поспешил заверить немца, что будет рад разместить у себя доблестных германских воинов.

— У вас превосходный немецкий, доктор. Вы где учились?

— В Гейдельберге, господин офицер.

Офицер одобрительно кивнул головой и уже сделал движение вперёд, но внезапно обернулся, словно вспомнив что-то:

— Вы ариец?

Гольдштейн отрицательно покачал головой. Он понял: нужно ждать самого худшего.

Офицер помолчал. Затем набросился на Петериса:

— Гром и молния! Ты куда нас привёл?!

Несчастный дворник только беззвучно открывал рот и вытирал пот со лба.

— Веди в другую квартиру!

Петерис и солдат выскочили на лестничную площадку. Офицер собирался последовать за ними, и в этот момент Залман решился. Он понимал, что у немца нет никакой проблемы расстегнуть кобуру, как нет проблемы немедленно выбросить его с женой и дочерью вон и занять их место. Но ему показалось, что этот офицер чем-то похож на тех немцев, которых он видел когда-то. Должно же в нём быть что-то человеческое.

— Господин офицер! У нас есть разрешение на въезд в Палестину. Вы хотите избавиться от евреев, но мы и сами готовы... Господин офицер, куда я могу сейчас обратиться? Мы... — Гольдштейн замолчал: рука немца заскользила вдоль френча с той стороны, где висел пистолет.

Всё! — подумал Залман.

Но офицер достал из большого бокового кармана, пачку сигарет, пристально посмотрел на доктора, видимо поражаясь его наивности, и чиркнув зажигалкой, ответил:

— Сожалею, коллега. Беспокоиться надо было раньше. А теперь у вас одна дорога, — и он показал пальцем вниз.

То что в доме кончились продукты, выяснилось на следующий день. Марта больше не появлялась. Не оставалось ничего другого как самому идти в магазин. Гольдштейн не был трусом, к тому же не каждый мог с первого взгляда распознать в нём еврея, и всё же страх сковывал мышцы, и доктор двигался через силу. У большого продовольственного магазина на противоположной стороне улицы с раннего утра толпилась очередь. Ещё один магазин находился дальше, и Залман решил, что лучше пойти туда. Он хорошо знал владельца магазина, толстого, с круглым черепом, Язеп. Тот всегда держал для доктора самый лучший кофе. Да и народу на улице Стабу, где находился магазин, должно было быть поменьше.

Очереди у входа в магазин действительно не было, потому что она умещалась внутри, извиваясь, как змея. Какая-то женщина, которую Залман не знал, стояла за прилавком. Сам Язеп сидел у кассы, и когда Гольдштейн, открыв дверь, спустился на две ступеньки вниз, хозяин поднял голову:

— Жидов не обслуживаем! Вон отсюда!

— Но мне совсем немного надо, — забормотал доктор, стыдясь и презирая самого себя, — мне...

— Ты что, еврей, не слышал распоряжения германского командования — жидам продукты не отпускать? — выступил из очереди какой-то мужчина. — Может, прочистить тебе уши? Или кое-что ещё? — добавил он под одобрительный смех окружающих. А нука, Ёлдис, — обратился он к белокрысому юнцу, стоявшему с бидоном, — позови парней!

Залман понял, что если он немедленно не уйдёт, то на него набросятся. Он поспешил к выходу, и через несколько минут уже поднимался в свою квартиру, войдя в дом с чёрного хода. Положение было ужасным, но доктор всё ещё пытался хоть за что-то ухватиться. Он заметил, что немцы пока мало вмешиваются в происходящее. Наверно поэтому создаётся впечатление, что власть в руках латышей. Где же немецкий порядок? Гольдштейн сообразил, что ждёт этого

порядка, как спасения. А если он ошибается? Вчера ему попался нормальный немец, а два позавчерашних офицера? Не только не помешали айзсаргам, но поощряли их. И всё равно, немецкий порядок, каким бы он ни был, прекратит этот произвол и поставит латышей на место. Доктор снова вспомнил вчерашнего немца. Тот действительно разговаривал по-человечески — значит, не был фанатичным нацистом. А ведь он мог расстрелять их прямо в квартире под любым предлогом и без предлога. Да, этот военный врач говорил без злобы, но и без сантиментов: откровенно сказал Залману о том, что им предстоит. Но если так, чего же он ждёт? Былого немецкого порядка? Так ведь национал-социалисты уже давно объявили, что вводят новый порядок, в котором евреям места нет. Только сейчас доктор начал догадываться, что те самые немцы, среди которых он жил, чью культуру ему прививали с детства, что именно они своей пропагандой настраивают латышей, позволяя им убивать, и это слишком поздно пришедшее к нему понимание никак не могло уместиться в сознании.

Гольдштейн вспомнил о матери. Это ей он обязан был тем, что стал врачом. Отец, благословенна его память, не хотел отдавать сына в гимназию. Он предпочёл бы видеть своего первенца раввином. Реб Исроэл любил повторять, что он тоже в гимназии не учился, и всё-таки стал уважаемым человеком. Но ребёнок был на редкость способным, и мать неизвестно каким образом убедила отца согласиться. Зяма окончил гимназию, а потом поехал в Гейдельберг, откуда вернулся с дипломом, беглым немецким и любовью к Германии. А теперь, когда пришли немцы, он не может поддерживать связь с родными: их телефоны не отвечают, городской транспорт не работает, да и опасно, крайне опасно выходить на улицу. Залман не знал, что его сестра Гита, жившая на окраине города в собственном доме, уже лежит под латышской красавицей-елью вместе с матерью, мужем, детьми и десятком других евреев, которых команда «безопасности» Виктора Арайса отыскала в окрестностях. Их даже не отвели в тюрьму — лес был рядом. А другая сестра, Мирьям, очень скоро будет искать тело своего мужа, сожжённого вместе с синагогой, где он молился, когда перконкрустовцы облили стены здания бензином и подожгли.

Занятый своими мыслями, Гольдштейн не услышал лёгкого стука в дверь. Но настойчивый стук повторился. Это не могли быть бело-

красно-повязочники<sup>1</sup>: те трезвонили бы в звонок и стучали прикладами. И всё же прошло несколько минут, пока Залман открыл засов. На пороге стояла Зента, прижимая к груди пакет. Ещё пару минут они молча смотрели друг на друга. Ничего не понимающий доктор даже не сообразил, что двери надо закрыть, чтобы их с Зентой никто не увидел. Зента сделала это сама. Её рука коснулась руки Гольдштейна:

— Это для вас, Залман, — сказала Зента, протягивая пакет. — Язеп просил передать.

Но доктор всё ещё ничего не понимал. Какой Язеп? Бакалейщик? Но Язеп обругал и выгнал его.

— Он просил вам сказать, — продолжала Зента, — что ему перед вами стыдно, но у него не было выхода. Если бы он не выгнал вас, эти люди в очереди выгнали бы его. Вам нельзя к нему приходиться. И, немного помолчав, добавила: я тоже была в магазине, вы меня не видели.

— Зента... — только и мог произнести онемевший доктор.

— Вам не стоит выходить на улицу. Это опасно. Я буду вас навещать.

— А разве для вас не опасно? — овладел собой Залман. — Увидят, что вы заходите в еврейскую квартиру.

— Опасно. Но не так, как для вас. Вас могут убить.

Оба старательно говорили друг другу «вы».

— И Арвид считает, что вам надо помочь.

Арвидом звали доктора Балодиса.

— Мы оба были у Язепы. Муж меня одну не отпускает. Мы и к вам пришли вдвоём, только он остался на улице. Я пойду, Залман. Постараюсь вернуться дня через два.

Гольдштейн всё ещё был в шоке. Зента! Вот кому безразлично, что с ними будет. Прощаясь, он поцеловал ей руку и заметил, что Зента на секунду, а может и две, задержала под его губами свою ладонь.

---

<sup>1</sup> «Отечество». Газета латвийских коллаборационистов, выходившая в Риге в 1941-44г.г.

Но и после ухода Зенты сюрпризы этого дня не закончились. Через некоторое время опять постучали. Решив, что это Зента почему-то вернулась, доктор открыл дверь и увидел свою служанку Марту:

— Здравствуйте, господин Залман, — Марта вела себя непривычно. Она никогда не была такой взволнованной и смущённой. — Петерис просил вас сказать, что он не хотел вести к вам этого немца. Немец сам показал на вашу квартиру. Извините его, доктор. Ему приказали, а что он мог сделать?

— Разве я не знаю вашего мужа? Он славный человек. Почему вы не приходите, Марта?

— Ох, господин доктор! — Марта поднесла к глазам край фартука, — не могу я больше к вам приходиться. Если Янцис об этом узнает — вас увезут в тюрьму. Янцис теперь на Валдемара, в команде у какого-то Арайса. Сказал, что каждый латыш хоть одного еврея должен убить. А когда мой Петерис за метлу схватился, хотел сыночка проучить, так Янцис метлу сломал. Вот какие дела, доктор.

Закрыв за Мартой дверь, Гольдштейн вспомнил о лекарствах. Надо было через Зенту попросить у Балодиса. Фире плохо, а он... Какой же он всё-таки безответственный человек! А если Зента больше не придёт?

Но Зента пришла, как и обещала. Она стала рассказывать о том, что происходит в городе. Синагоги горят, то здесь, то там убивают евреев. По ночам врываются в еврейские квартиры, вытаскивают из постели людей. Мужчин отбирают якобы для выполнения трудовой повинности, уводят куда-то и многих расстреливают. Насилуют женщин. Немцы почти не участвуют в этом. Всё делают латыши.

Залман знал, что Зента под влиянием мужа стала верующей, и внезапно спросил:

— Где же Бог, Зента?

— Это Его решение, — убеждённо ответила Зента. — Наш пастор сказал, что ничего нельзя сделать. Нужно молиться за несчастных детей Израиля.

— Но вы-то не только молитесь...

— А это мы с Арвидом так решили.

Зента говорила правду. Она только умолчала о том, что инициатива принадлежала ей.

Гольдштейн взял руку Зенты в свою:

— Всё, что я могу — это целовать вам руки.

Зента покраснела. И поспешила протянуть доктору аптечку:

— Арвид передал. Почему вы не послушали его? Он рассказал мне, что советовал вам уехать.

Гольдштейн помнил этот разговор. Они встретились с Балодисом случайно, через несколько месяцев после того как Арвид женился на Зенте. Залман чувствовал себя стеснённо, хотя был уверен, что его бывшая медсестра ничего не рассказывала мужу. Перебросились, как бывает в таких случаях, несколькими ничего не значащими фразами, и Гольдштейн уже собирался откланяться, когда Балодис неожиданно сказал:

— Рад был вас увидеть, коллега. И всё же предпочёл бы больше с вами не встречаться.

Знает! Всё знает! — решил Залман. — Значит, Зента ему рассказала.

Но оказалось, что доктор Балодис имел ввиду другое:

— Я, наверное, не так выразился. Простите. Я хотел сказать: не здесь, не на этих улицах.

— Но почему?

— Истошилось терпение Божье, — Балодис заговорил словами проповедей, — и грядёт нечто ужасное. Когда земля и небо сойдутся, спасенья не будет. Бегите! Бегите пока ещё можно!

Как раз в это время Залман искал очередной предлог оттянуть отъезд. Слова Балодиса вызвали приступ страха, но доктор уже научился загонять его обратно. Тогда он старался забыть об этой встрече, но теперь отдал бы всё, чтобы вернуть время назад. Врываются в квартиры, уводят мужчин, насилуют, убивают. Так ведь и к ним могут придти, и может быть это чудо, что не пришли до сих пор. Доктор не знал, что члены команды Арайса уже приходили, но дворнику Петерису удалось их убедить, что никого из иудейского племени в доме нет. Такое случалось нечасто. Большинство рижских дворни-

ков выдавало евреев охотно — зачастую по собственной инициативе. О Гольдштейне знал Янцис, но он день и ночь находился в «резиденции» Арайса и в облавах пока не участвовал.

— Глупец! Самонадеянный глупец! — В который раз думал о самом себе доктор. — Хотел схитрить — и вот результат: Фира больна, Лия спряталась в комнате. И он сам дрожит от каждого звука в ожидании ареста.

Вечером того же дня медсестра Рута яростно что-то взбивала и тёрла в большой миске на деревянном столе своей маленькой кухни. Руту выводил из себя её муж Фрицис, валявшийся на диване. И за что ей такое несчастье? Здоровый тридцатилетний мужик околачивается дома. Она, Рута, ни одного дня не была без работы, а Фрициса как уволили перед войной из какой-то захудалой конторы, так и сидит на её шее. Но Советов больше нет, начинается новая жизнь, а её мужёнок похоже не собирается занять в этой жизни подобающее место. Вот и сейчас — разлётся с газетой! Ничего, она ему покажет! Зато доктор Подниекс — настоящий мужчина! Только он женат и со своей Мирдзой никогда не разведётся. Всё лучшее достаётся этой мымре, а ей — только крохи!

Из комнаты слышались какие-то звуки. Рута прислушалась. Так и есть! Храпит, скотина! В то время как каждый честный латыш очищает страну от заразы. А еврейское добро? Пока немцы не навели свой порядок, можно хорошо заработать...

В два прыжка Рута была у дивана. Фрицис действительно похрапывал, лёжа на спине. На полу валялась газета. Рута схватила её и уже собиралась отхлестать мужа по щекам, но увидела объявление. Она посмотрела на газету ещё раз. Это был вчерашний номер «Тэвии».1

«Все национально мыслящие латыши, — гласил короткий текст, — перконкрустовцы, студенты, айзсарги, офицеры и другие, кто желает принять активное участие в очистке нашей земли от вредных элементов, могут обращаться к руководству команды безопасности по адресу Валдемара 19 с 9–00 до 11–00 и с 17–00 до 19–00».



Вот оно! — подумала Рута. — Как раз то, что надо. Ну, теперь ты у меня не отвертись!

Можно было, конечно, осуществить первоначальный замысел и, надавав Фрицису пощёчин, устроить скандал, но Рута решила, что действуя по-хорошему, она добьётся большего. В конце концов существуют и другие методы.

— Фрицис! — ласково позвала она, — Фрич!

Фрицис открыл глаза.

— Спишь, милый? — проворковала Рута. — Просыпайся, скоро ужинать будем. А пока я хочу тебе кое-что показать.

И Рута присела на диван, позаботившись о том, чтобы её домашний халат раскрывлся выше колен.

Полусонный Фрицис моментально пришёл в себя.

— Сейчас, дорогой. Подожди чуть-чуть, — произнесла Рута, проследив за взглядом мужа. — Посмотри вот это, прочти объявление.

Фрицис вопросительно поднял глаза на жену.

— Прочти вслух, — повторила Рута.

— Я думаю — это то, что тебе нужно, — сказала она, когда муж закончил чтение. — Обещай, что завтра утром пойдёшь на Валдемара. А теперь — иди ко мне, милый...

На следующее утро Фрицис пошёл по указанному адресу. В голове вертелись разные мысли. Он старался оправдать Руту. Конечно, она хочет им обоим добра. А кроме того, разве он не патриот? Служил в латвийской армии, был капралом.

В большом вестибюле находилось много людей, и пока Фрицис пытался разобраться что к чему, его окликнул чей-то голос. Повернувшись, он увидел, что к нему, раскрыв объятия, направляется старый друг и сослуживец по пехотному батальону Кónрад Кáлейс. Когда Фрицис демобилизовался, Конрад остался в армии, дослужился до офицерского чина. И сейчас он был в латвийской офицерской форме.

— А я думаю, кто здесь крутится? А это, оказывается, старый пройдоха Фрич,— улыбаясь сказал Конрад.— Хорошо, что ты к нам пришёл.

— Куда мне обратиться, Конрад,— обрадованно спросил Фрицис.

— Считай, что ты уже обратился. Сейчас пойдёшь туда,— Конрад показал в глубь коридора,— предпоследняя комната налево. Там тебя зачислят и всё объяснят. Да, не забудь сказать, что тебя Конрад Калейс направил. Ну что? С поступлением в национальные силы! Отметим потом это дело.

Фрицис сделал несколько шагов в указанном направлении, и вдруг, словно что-то вспомнив, догнал Калейса.

— А какая задача? Вредные элементы это кто? Коммунисты?

Конрад снисходительно посмотрел на приятеля:

— И коммунисты, конечно. Но главная наша задача,— Калейс пригнул кончик носа и, изображая горбоносого еврея, картаво проговорил,— хаимы, сары и всё их отродье. Ну ты иди, иди! Потом встретимся.

Фрицис почувствовал, как его голова, такая ясная с утра, вдруг стала раскалываться от притока крови. Он бросил взгляд в ту сторону, куда ушёл Конрад и, убедившись, что приятеля не видно, выскочил на улицу. Вот оно что! Так вот куда его отправила Рута! Но, может быть, она и сама не знала?

Он плохо помнил, как добрался домой. «И всё их отродье» — это значит дети... Нет! Ни за что! С врагами он готов быть жестоким, но с детьми!.. И если Рута знала — он ей покажет!

Рута явилась к вечеру. Она хотела вернуться раньше, ей не терпелось узнать, как дела у мужа. Но доктор Подниекс закрыл после обеда клинику и два часа наслаждался обществом Руты, полностью вымотав свою медсестру. Ещё час ушёл у неё, чтобы отдохнуть и привести себя в порядок: в таком виде нельзя было показаться дома. Не хватало только, чтобы Фрицис что-нибудь заподозрил.

— Фри-и-ч! — с порога пропела Рута. — Как дела, милый?

Ответа не последовало. Рута заглянула в комнату. Фрицис сидел в кресле, уставившись в стену.

— Как дела? Записался?

Не отвечая жене, Фрицис посмотрел ей прямо в глаза. Рута попятилась. Мягкий по характеру и уступчивый, муж был опасен в гневе.

— Ты знала, чем они занимаются?! Ты знала, что они убивают детей?!

Господи! — подумала Рута, — он же любит детей! Муж хотел ребёнка, но желая сохранить отношения с Подниксом, Рута не спешила беременеть, намекая Фрицису, что в её бездетности виноват он.

— Но ведь это жидовские дети, — продолжая пятиться, не совсем уверенно пробормотала Рута.

Удар мужа сбил её с ног. Очнулась она на диване.

— Потаскуха! — сказал Фрицис. — Я всё знаю! Ты спишь со своим доктором.

## Глава одиннадцатая

Несмотря на то что немецкий офицер ясно дал понять, что сертификат можно спустить в уборную, Гольдштейн всё ещё вынашивал подброшенную ему Фирой идею. Но соваться к немцам нельзя. Большинство из них не такие, как этот врач. Что же делать? Стоп! Адвокат Ракстыньш! Как он сразу о нём не подумал? Ракстыньш, бывший компаньон Лангермана, исполнительный и приятный человек, с которым доктор уже имел дело. Его контора там, где была контора Макса, то есть на улице Блауманя. Это недалеко. Позвонить? Телефон работает, только непонятно, почему Гита не отвечает. И у Мирьям молчит телефон. Гита... Там же мама... Залман ещё не знал, что в соответствии с немецким распоряжением у евреев отключают телефоны, и очень скоро он уже никому не сможет позвонить. Подумав несколько минут и решив, что худшее из того, что он может услышать — это отказ иметь с ним дело, доктор снял трубку:

— Адвокат Ра́кстыньш, — послышался голос.

— Добрый день, господин Ракстыньш. Доктор Гольдштейн беспокоит.

Ответом Залману было молчание. Тем не менее, он решил продолжать:

— Я хотел бы договориться о встрече. У меня важное дело. Я...

— Гольдштейн, — прервал его голос Ракстыньша, — разве вы здесь?

Доктор не знал, что сказать. Но адвокат и не ждал ответа.

— Вы должны были быть в Палестине, — холодно сказал Ракстыньш, и Залман почувствовал в его словах злую иронию, — разве не для этого я вам помогал и вёл ваши дела? Но если вы здесь — чем я могу вам сейчас помочь?

— У меня есть сертификат на въезд в Палестину. Может...

Адвокат рассмеялся:

— Этот сертификат повесьте на крючок в своём кабинете, доктор. Он вам больше не понадобится. Мне жаль, но вы оказались не так умны, как некоторые ваши собратья. Странно, что вы сумели позвонить. Разве вы не знаете, что евреям запрещено пользоваться телефоном? А что вы знаете о других правилах? Поинтересуйтесь, только побыстрее! Желая вам остаться в живых.

Залман продолжал сжимать трубку, в которой слышались короткие гудки. Он не жалел, что позвонил. По крайней мере, он узнал правду. Раньше или позже они все будут убиты. Евреи Риги, евреи Латвии, евреи любой страны, где окажутся немцы. И Ракстыньш прав. И он, и доктор Балодис, и даже Подниекс в своё время намёками (а он, Залман, делал вид, что не понимает намёков), а если хорошо вспомнить, то и другие латыши давали ему понять и даже открыто говорили, чтобы он уезжал. И неважно, какие у них были мотивы — важно, что он никого не слушал. Ладно, он уже не так молод, а Фира? А Лия — ей только четырнадцать? Почему они должны умирать из-за его близорукости и эгоизма? Ведь он думал только о себе — о том, какие трудности его ждут в Палестине. Жара, песок — да чёрт с ними! Он целовал бы сейчас этот песок, с наслаждением бы жарился на солнце. Но когда ему давали такую возможность, он ею пренебрегал, а теперь из-за его ошибки — нет, нет, преступления, с ним вместе пойдут на гибель жена и дочь.

Ракстыньш говорил правду. Евреям было запрещено всё, что составляет основу жизни нормального человека, фактически запрещено дышать и жить, просто об этом пока ещё не было сказано громко и вслух. Полагалось носить на груди и на спине могоднёвид — шестиконечную звезду из материи жёлтого цвета. «Это для того, чтобы нас легко было вычислить», — подумал Гольдштейн. В тот момент он ещё не знал, насколько его предположение верно. Это и был тот немецкий порядок, на который надеялся доктор. Но и латышское самоуправство подходило к концу. Немцы вовсе не собирались предоставлять Латвии самостоятельность. Этой стране была уготована участь колонии. Поэтому оккупационные власти запретили ношение мундиров латвийской армии и униформы айзсаргов. Кроме того была запрещена вся символика независимой Латвии, но тем, кто активно

участвовал в истреблении латвийского еврейства, и тем кто был солидарен с ними, это не мешало. Убить всех евреев было важнее несбывшихся надежд. И всё же, даже в такую непроглядную ночь одинокие звёзды мерцали: находились и другие латыши.

В очередной свой приход Зента сказала:

— Я говорила с Арвидом насчёт вашей дочери. Он согласен.

Залман вопросительно посмотрел на Зенту.

— Мы спрячем её у нас. А потом переправим в деревню. У меня есть родственники на хуторе возле Смилтене. Я попробую договориться с ними.

— Это очень большой риск для вас, Зента.

— Это шанс. Его надо использовать. Я не была уверена, что Арвид согласится. Одно дело — тайком приносить вам продукты, и совсем другое — прятать евреев.

— Вот я и говорю...

— Но раз он согласился, нужно этим воспользоваться.

У Гольдштейна стремительно забилось сердце. Если удастся спрятать дочь — он умрёт счастливым. Доктор не знал, что осторожный Балодис долго не соглашался, и перестал упорствовать лишь тогда, когда жене удалось убедить его, что спасение еврейской девочки будет вменено им обоим в заслугу перед Богом.

Договорились, что Зента придёт через день и уведёт Лию. Уведёт без лишних вещей, чтобы не вызвать подозрений. За это время в квартире Балодиса будет готово убежище. Оба надеялись, что за два дня ничего не случится. Говорили, что самодеятельные латышские патрули будто бы перестали ходить по домам, что немцы не разрешают беспорядочные убийства. Но имелась команда Арайса. Она успешно выполняла доверенную ей задачу, узнав о которой бежал с улицы Валдемара муж медсестры Руты. И в тот самый день, когда Зента сказала, что спрячет Лию, Янцис, сын Петериса и Марты, вспомнил о существовании Гольдштейнов.

Янцис уже с утра был в плохом настроении. Больше двух недель он в команде — и что? Коридор и двор подметает, как его отец —

вечный дворник. На побегушках у Виктора Арайса и его постоянного собутыльника — знаменитого лётчика и путешественника Герберта Цукурса. Но если Цукурс — герой, то про Арайса ещё совсем недавно никто не слышал. А причина того, что Янциса сделали при команде служкой — это, конечно, его семья. В команде полно офицеров, студентов и вообще образованных, а его папаша метлой размахивает. И хотя, он, Янцис, тоже не безграмотный — куда ему с таким происхождением? А ведь он настоящий латыш и хочет принести родине пользу, уничтожая жидовскую нечисть. Именно это он и скажет сегодня Виктору, а кроме того напомним о своём участии в боях с Рабочей гвардией у Центрального рынка. Тогда его ни о чём не спрашивали, сразу дали оружие. А что теперь?

Но Виктор, как и раньше, не слишком серьёзно отнёсся к Янцису. Ребята возвращаются с задания, им нужно расслабиться, а обслуживать кто будет? На его взгляд сын дворника лучше всего подходил для такой роли. Парня пожалел Цукурс. Видя, что Янцис готов расплакаться, он сказал Арайсу:

— Вики! Дай ему шанс.

Хотя начальником был Арайс, авторитет и заслуги Цукурса перешивали. Цукурсу трудно было возразить. И тут Янциса осенило:

— В нашем доме есть доктор Гольдштейн. В-первых, жид, во-вторых, не из бедных. И что — так и будет свободно прогуливаться по улицам Риги?

На следующий день вечером Янцис сидел в синем автобусе, направлявшемся на улицу Бривибас. Сначала зачистили окрестные дома, в которых нашли и вытащили оттуда оставшихся евреев, а затем пришла очередь Гольдштейна. На этот раз Петериса, утверждавшего, что иудеев в доме нет, не беспокоили. Янцис знал дорогу.

Длинный звонок и громкий стук прервали размышления Залмана, мечтавшего дожить до того момента, когда придёт Зента. Он уже объяснил Лие, что ей придётся погостить у Зенты, что они с мамой тоже переедут на время в другое место, а когда (конечно же очень скоро) всё закончится, семья опять соберётся вместе. Гольдштейн старался

не смотреть в полные слёз глаза дочери, сидевшей в своей комнате с книгой в руках. Сердце не выдерживало, помогала только мысль о том, что план Зенты удастся осуществить. И жене Залман всё рассказал, но она вела себя так, словно плохо понимала о чём идёт речь. Казалось, что после того как исчезла последняя надежда использовать сертификат, депрессивное состояние Фиры усилилось. Теперь она почти не выходила из спальни.

Наведя оружие на Залмана, трое парней, в одном из которых доктор узнал сына Марты, вломились в квартиру. Не обращая внимания на скорчившегося от удара в живот доктора (потом с ним разберёмся!), они вбежали в гостиную, а после ринулись в остальные комнаты. Всё произошло очень быстро, и Янцис уже предвкушал, как займётся Лией: как схватит за волосы, порвёт на ней платье, и получит, наконец, то, о чём из-за своей прыщавой физиономии только мечтал, не смея подступиться к женщине. Но пивная бочка — ответственный за еврейские ценности толстый немец Краузе уже входил в коридор, жестом подзывая к себе Янциса. Это смешало все планы. Обычно Краузе задерживался в предыдущей квартире, и до появления немца, который каждый раз выбирал себе очередного помощника из латышей, ребята успевали иногда положить пару безделушек в карман и развлечься. А на этот раз что-то не сработало: видно, предыдущую квартиру кто-то успел обобрать раньше, и Краузе там не задержался. Мысленно чертыхаясь и проклиная своё невезение и «бочку», Янцис начал сбрасывать в мешок всё, на что указывал палец Краузе, тщетно пытаясь что-то придумать. Автобус умчался и увёз Гольдштейна, а у Краузе с его мешками была своя машина. Он тоже спешил и доставлять удовольствие Янцису, который перешёл теперь в его распоряжение, не собирався. В спальне сын дворника старался привлечь внимание немца на Фиру, рассчитывая, в случае удачи, найти время для Лии, но толстяк на него накричал. Из длинного набора слов Янцис понял, что лишь такие сомнительные арийцы, как латыши, могут вступать в сношения с евреями, а настоящий немец не запятнает себя подобным контактом.

Пока уводили Залмана, а Краузе с его помощником шарили по квартире, Фира и Лия, обнявшись, сидели в спальне. В эти дни в тюрьму и на расстрел увозили, главным образом, мужчин, а женщин



«только» насильовали, и если Лия была ещё ребёнком и не всё понимала, то Фира знала, что их ждёт. Перед ней вставали образы родственников, и Фира представляла себе, как все трое: Дина, Давид и она встречаются в Палестине. Только почему в Палестине? Что это за название? В Стране Израиля — так надо говорить. Вот они стоят на тель-авивском пляже, перед ними тёмно-синее море с уходящими к горизонту пенными гребнями волн, а над ними — такое же густое, без единого облака, синее небо. А мама? Она тут, рядом, радуется, что все они вместе. Здесь нет войны, сюда не доберутся отвратительный жирный немец с прыщавым латышским юнцом. Пока они рылись в спальне, Фира старалась как можно глубже уйти в себя, и всё равно слышала, как этот парень, сын Марты, которого она сразу же узнала, уговаривает немца попользоваться уже не такой молодой, но всё ещё красивой еврейкой. Когда Краузе заорал на Янциса, Фира не поверила своим ушам, но немец и его помощник, волоча мешки, действительно вышли из комнаты. Это было невероятно. Неужели всё обошлось? Фира опустилась на кровать.

Господи, как они могли быть счастливы, — продолжала думать Фира, — как могли бы жить большой дружной роднёй, ведь их так хотели Давид и его жена, которую Фира знала только по переписке. А вместо этого — издевательства, унижения, смерть. И только потому что Юда Айзексон не желал ничего знать, подставил родственников, а Дине, у которой тоже был сертификат, запретил даже заикаться об отъезде. А её, Фиры, собственный муж вёл себя ещё хуже. Соглашался, обещал, делал вид, что действует, а сам хотел того же, что Юда: привычного и сытого существования. Фира почувствовала, как её сознание начинает проясняться: только сейчас она окончательно поняла, что Залмана забрали, что они с Лией больше его не увидят, и если так — лучше завершить свой путь самой, чем каждый день ожидать конца. В этот раз не убили — убьют в следующий. А Лия? Уйти и оставить её одну? Лия, Лия — что-то связанное с дочкой долго вертелось в тяжёлой, всё ещё замутнённой голове Фиры. Наконец она вспомнила: за Лией должна придти Зента. Зента! Она-то зачем рискует? Всё ещё любит Залмана? Да какая разница, лишь бы Лия была жива! Значит, надо дожидаться пока придёт Зента и уведёт Лию. А потом она поищет снотворное...

Фира посмотрела на дочь. Лия не спала. Она лежала на спине, её глаза были открыты, она повернулась к матери и спросила:

— Мамочка, папа вернётся?

— Вернётся, милая, обязательно вернётся. А за тобой скоро придёт Зента, — Фира старалась переключить внимание дочери на другую тему.

— Но я не хочу уходить. Хочу быть с тобой. И с папой.

— Конечно, дорогая. А пока побудешь немного у Зенты. Она добрая, — успокаивая Лию, Фира делала усилие, чтобы преодолеть неприязнь к этой женщине, которая теперь выступала в роли благодетельницы. Ну что она от неё хочет? Разве Зента в чём-нибудь виновата? И какое значение её старые отношения с Залманом имеют сейчас, когда Залмана нет, и её, Фиры, тоже скоро не будет. А Йосэф? Так ничего и не узнает о ней?

Йосэф! Боже! Ведь она так и не прочитала его стихи. Незадолго до войны позвонила Эмма и уговорила Фиру, которая не знала куда деваться от навязчивых мыслей, встретиться в парке. Как всегда улыбаясь, жизнерадостная Эмма поспешила сообщить:

— А у меня для тебя сюрприз, — и вытащила из сумочки газетную вырезку. — Стихи Йосэфа. В какой-то американской газете опубликованы. Бери, читай: это на идиш.

Фира знала, что Натан и Эмма поддерживают связь с Йосэфом, и что Йосэф находится в Нью Йорке. Она растерянно взяла в руки листок и даже не спросила, откуда у Эммы эти стихи. И как это они не боятся с ним переписываться? Советы не одобряют такие вещи. А Эмма продолжала:

— Он там какие-то кошмары описывает. Вообразил себя пророком. По-моему, просто глупо. Ну что у нас может произойти? Особенно сейчас, когда здесь русские. Натан говорит: советская власть — это надолго. Надо научиться с ней жить. Бери. Дома прочитаешь, потом обсудим.

Но они так ничего и не обсудили. Фира забыла о стихах, ей было не до них. Сначала позвонила Дина с рассказом о своём несчастье, а потом началась война.

Лия задремала, и Фира начала думать, где может находиться листок. В шкатулке? Её унёс толстый немец, но бумаги, которые были там, она, кажется, переложила куда-то. Только куда? От лекарств у Фиры ослабела память, и прошло немало времени, прежде чем стихотворение нашлось, и Фира стала читать, ужасаясь и недоумевая, как Йосэф в благополучной и мирной Америке мог представить себе такие кошмары.

*Настанет время, и взойдёт звезда  
Над чёрным лесом, где зима царит,  
И всё пространство инея и льда  
Она мерцаньем тусклым озарит.*

*И побредёт унылая толпа,  
Скользя по снегу из последних сил,  
И встанет там, безмолвна и слепа,  
Где ангел смерти крылья распустил.*

*И раздеваться будут, словно в зной,  
И обрести наследный свой удел  
Они пойдут, сверкая белизной  
Ещё живых, ещё дрожащих тел.*

*И после них не запоёт певец  
Пернатый в этом проклятом лесу,  
И если солнце выйдет наконец —  
То лишь собрать кровавую росу.*

*Ребёнок, мать за руку теребя,  
Через секунду с нею рухнет в ров.  
Любимая! Сегодня и тебя  
Я вижу на развалинах миров.*

*Я вижу, как идёшь по снегу ты  
Далёкая и чуждая всему,  
И прижимаешь мёртвые цветы  
К ещё живому сердцу своему.*

*Я не могу помочь тебе никак,  
Не перейду невидимый порог.  
Один, всего один неверный шаг —  
И бездна раскрывается у ног.*

*И ты уходишь. Время истекло.  
Мы ничего не можем изменить.  
И прошлое разбито, как стекло,  
И не связать разорванную нить.*

*Ты исчезаешь в пепле и золе,  
Тебя, моей любимой, больше нет,  
И только брызги крови на земле —  
Как роз погибших брошенный букет!*

Он прав! О, как он прав! Всего один неверный шаг — и раскрывается бездна! — Фира сразу поняла, что имел в виду Йосэф. Господи, ну почему именно сейчас ей надо было вспомнить об этих стихах? Чтобы вновь испытывать раскаянье и горечь, оттого что прошлое разбито, и нельзя вернуться в 36-й год, когда она могла уехать, спасти себя и детей? Фира подумала, что если не удастся найти снотворное или яд, она вскрыет вены. Теперь-то она точно знает, что жизнь её закончилась уже тогда, когда в квартире Эммы она окончательно рассталась с Йосэфом. «И не связать разорванную нить» — точнее не скажешь. В полузабытье между сном и явью прошло несколько часов, и Фира не сразу услышала осторожный, но настойчивый стук в дверь.

## Глава двенадцатая

Залману показалось, что спина стала болеть меньше. Наверно потому, что ему удалось прислониться к стене. «А нет ли в происходящем какой-то трагической закономерности?» — снова подумал он. Ему давали возможность избежать смерти и спасти близких, а он цеплялся за эту страну, за этот город, который по непрости-тельной наивности считал своим. Зато сейчас, когда он согласен на всё, что угодно, когда готов идти босиком до самой Палестины, его уводят на смерть. Если удастся спрятать Лию, это будет заслугой Зенты и Балодиса, но уж никак не его, Залмана, заслугой. Значит, он проклят. И не только Богом. Фира тоже прокляла его. Она не говорит ни слова, но он ощущает её проклятие, ощущает, как если бы она бросила в него камень. Михаэль — вот кто должен быть счастливым! Михаэль на фронте, он мстит. Мечь! Этого слова не было никогда в лексиконе доктора Гольдштейна, но в грязном подвале, где евреи дожидались смерти, он стал думать иначе, испытывая неведомые ему раньше ощущения. Он, который лечил людей и спасал им жизнь, думал теперь о мести! Мечь — только это может остановить убийц! Если бы они знали, что их ждёт отмщение, они бы ещё подумали. Отмщение! Как это было на идиш? Некómэ! Пусть все евреи, идя на гибель, повторяют это слово. Может быть тогда их услышит Бог.

Лязг подвальной двери заставил его поднять голову. Какой-то шуцман пробирался к стене, посвечивая фонариком и безжалостно наступая на чьи-то руки и ноги. Раздались стоны.

— Заткнитесь! — срываясь на мальчишеский фальцет, заорал шуцман. — Эй, доктор!

Залман не сразу понял, что обращаются к нему.

— Я тебе говорю: встать! Или тебя не учили вставать перед латышом?!

Гольдштейн с трудом поднялся на ноги. Он узнал Янциса.

— Иди вперёд! Живо!

Начальник «команды безопасности» Виктор Арайс пил с Гербертом Цукурсом в кабинете — одной из лучших комнат своей «резиденции». В этом не было ничего нового: попойку друзья устраивали почти каждую ночь, выбирая собутыльников по своему усмотрению. Новым было то, что на этот раз они были только троём, и третьим в их компании был важный гость — капитан Ганс Дреслер, переводчик самого Валтера Шталлекера, бригадфюрера СС и начальника айнцакоманды «А» — специального подразделения, предназначенного для очистки Прибалтики от евреев. Но достоинство капитана Дреслера состояло не только в том, что он был переводчиком Шталлекера и имел прямое отношение к действиям отряда, который возглавлял Арайс. Ганс Дреслер, прибалтийский немец из Елгавы, был старинным школьным приятелем Виктора Арайса, а кроме того, они вместе служили в латвийской армии. Встретились друзья в день вступления вермахта в Ригу, и Дреслер рекомендовал Арайса своему шефу Шталлекеру. Так началась стремительная и успешная карьера Виктора. Этим вечером Ганс пришёл навестить друга, и такое событие надо было отметить, пригласив, разумеется, и Цукурса. Вначале всё шло замечательно, но где-то часа через два Гансу стало не по себе. Он побледнел, и хотя в кабинете было тепло, у капитана начался озноб. Более того, на губах у Ганса появилась пена, и он закатил глаза. Обеспокоенные, Арайс и Цукурс посмотрели друг на друга.

— Нужен немецкий врач, — встревоженно сказал Арайс.

— Подожди, Вики, — отозвался Цукурс, — нельзя немецкого врача. Если что-то случится, нас могут обвинить в отравлении немца. Представляешь, чем это может кончиться? Немецкий военный доклад составит официальный протокол. И тогда мы уже не отмоемся.

Станным было то, что ничего подобного не пришло в голову дипломированному юристу Арайсу. Он с удивлением посмотрел на Цукурса, напряжённо следя за ходом его мыслей.

— Врач нужен, — продолжал Цукурс, — но другой. А, чёрт! — почти закричал лётчик, взглянув на Дреслера, у которого обильно

шла слюна изо рта, — времени нету, Вики! Может, в подвале есть врач? Сдаётся, что видел я одного, когда привезли последнюю партию. Эй, Янка! — позвал он, открывая дверь, — Быстро в подвал! Узнай, есть ли там доктор!

— Есть! — отозвался Янцис. — Я этого жида знаю.

— Так беги! Что стоишь?!

Через несколько минут Янцис втокнул Гольдштейна в кабинет.

— Это капитан немецкой армии, — сказал Арайс. — если он умрёт, умрёшь и ты, еврей! Но твоя смерть будет страшной.

Подожди, Вики, — вмешался Цукурс. — Осмотрите его, доктор. Только быстро.

Залман уже с того момента, как его втокнули в комнату, старался определить, что случилось с немцем. Если есть шанс, что этот офицер без медицинской помощи умрёт, он, доктор Гольдштейн, спасти его не станет. Пусть убивают, так и так убьют. Доктор внимательно взгляделся в лицо Дреслера. Похоже на серьёзное пищевое отравление, усугублённое обильной дозой алкоголя. Опасность существует. Сейчас решающий момент. Если он скажет, что ничего не может, нужны инструменты, лекарства да мало ли что, если будет тянуть время, немец, скорее всего, подохнет, и он вместе с ним. А вдруг у него ещё есть шанс?

Господин офицер! — обратился он к Цукурсу. — Больного надо накрыть. Иначе мундир будет испачкан.

Цукурс сразу оценил сказанное:

Янка! Слышал?! Быстро тащи что-нибудь!

Дреслера положили на кушетку и накрыли. Раздвинув быстрым движением рот капитана, доктор всунул туда два пальца, прижимая язык и стараясь продвинуть пальцы глубже. Несчастный Ганс изогнулся дугой и тут же изошёл обильной рвотой. Арайс потемнел, его рука легла на кобуру. Он уже направился к доктору, но Цукурс сделал успокаивающий жест.

Это хороший признак. Теперь надо подождать, — сказал Гольдштейн.

Янцис убрал загаженное тряпье и, на всякий случай, принёс другое. Прошло несколько минут напряжённого молчания. Дреслер открыл глаза и сел, но сразу же откинул голову назад.

— Придётся повторить, — произнёс доктор. Ему самому было плохо. В подвале думал о мести, а тут... Почему он не даёт немцу умереть? Потому что как врач не может иначе? Или всё-таки боится смерти, цепляется за жизнь?

Повторный сеанс закончился тем, что капитан сел на кушетке, свесив ноги на пол. Его лицо обрело осмысленное выражение, и он спросил:

Что это со мной? —

— Всё в порядке, Ганс, — подскочил к нему Арайс. — Пойдём, я тебе помогу.

— Посижу ещё минуту.

С каждой минутой Гансу становилось легче. Вскоре он встал и, слегка покачнувшись, огляделся кругом. Взгляд его упал на Залмана. Он начал что-то говорить, но махнул рукой и сказал Арайсу:

Идём, Вики.

— Жида обратно в подвал, — распорядился Арайс. — Впрочем, — обратился он к Цукурсу, — сам решай, Герберт. Дарю этого еврея тебе, — ухмыльнулся он.

Оба вышли из кабинета. Янцис посмотрел на Цукурса готовый немедленно водворить Залмана обратно.

— Подежурь там, в коридоре.

Чертыхаясь про себя, Янка вышел в коридор. Ему всё ещё не давала покоя докторская дочка. Сейчас она в квартире одна. Мамочка не в счёт, а кроме того неплохо бы и её тоже... Что бы такое придумать и заявиться туда?



Цукурс открыл окно, закурил и сел в кресло.

— Помните меня, доктор?

Цукурса Залман забыть не мог. Этот лётчик был одним из самых знаменитых латышей, быть может, самым знаменитым. Атлет, спортсмен, и надо же — подхватил ангину. И не простую — гнойную. Осмотрев героя, доктор определил положение как серьёзное. Он предложил госпитализацию, но Цукурс махнул рукой:

Не надо. Лечите так.

Легко сказать. Лечение Цукурса отняло у Гольдштейна немало сил. Прощаясь после последнего осмотра, лётчик, писатель и путешественник произнёс:

— Не зря я обратился к еврейскому врачу. Умеете лечить, доктор. Что бы вам подарить? Вот, возьмите на память, — и протянул Залману вырезанную из дерева фигурку какого-то идола. — Берите, берите — из Африки привёз. Это их талисман.

Не дожидаясь пока Гольдштейн ответит, Цукурс продолжал:

— Знаете, какие претензии у меня к вам, евреям? То что нам приходится вас убивать. Да, да, именно так! Если бы вас не было в Латвии, не пришлось бы нам руки пачкать. Вас не удивляет такая постановка вопроса? Был я в вашей Палестине, рассказывал о том, что видел, даже в еврейском клубе выступал. И что — много ваших уехало? Почему вы не побежали отсюда, как крысы? Нет, вы русские танки поджидали. Помогли они вам? Ладно, — Цукурс махнул рукой, — на долгие разговоры времени нет. Вы, кажется, воевали за Латвию в девятнадцатом? Где?

— В Северной бригаде, под Цесисом. И против Бермондт-Авалова<sup>1</sup>.

— Значит, мы воевали вместе. Только теперь другие времена. Даже если мы вас отпустим, вряд ли вы останетесь в живых. И тем не менее, — Цукурс сделал картинную паузу, изображая благородство, —

<sup>1</sup> Один из лидеров белого движения в Прибалтике. Опираясь на Германию, в 1919 г. поднял мятеж против независимой Латвии. Потерпел поражение под Ригой.

вы нам помогли, и мы вас отпускаем. Вернее, я отпускаю и только потому, что вы меня вылечили. Янка! — крикнул он в коридор, — выведи его на улицу! Извините, доктор, — и Гольдштейн услышал в голосе лётчика издёвку, — справку об освобождении мы не выдаём. Канцелярия ночью закрыта. Поэтому ночные патрули — ваша проблема. Если попадёте к нам обратно — больше отсюда не выйдете. Не знаю, повезёт вам или нет, но уж меня-то вы не назовёте неблагодарным.

Цукурс сделал знак, и Янцис, схватив Гольдштейна за плечи, вытолкал его из комнаты. В коридоре измученный Залман замешкался, но Янцис потащил его к выходу и, подтолкнув на прощание так, что тот едва не упал, напутствовал:

— Двигай ногами, доктор, и благодари вашего жидовского бога!

## Глава тринадцатая

Лейтенант Эрих Ланг продолжал молчать, стоя перед русским офицером и высокомерно на него глядя. Полчаса тому назад его захватили в плен, когда он вёз на мотоцикле важную депешу командиру дивизии. Выстрелы из леса были полной неожиданностью на этой дружественной эстонской территории, уже несколько дней тому назад оставленной отходящими советскими войсками. Кто же мог подумать, что какие-то недобитые русские пробираются из окружения? Ну, ладно. Он, как истинный германский офицер, настоящий рыцарь, скажет этим неполноценным азиатам, что если они немедленно сложат оружие, то в плену к ним отнесутся гуманно. Только они всё время пытаются у него что-то узнать, а он, даже если бы и понял, что от него хотят, не собирается им отвечать. Пусть недочеловеки видят, как ведёт себя представитель высшей расы.

Капитан Назаров и в самом деле вспотел, пытаясь разговорить немца, чтобы выяснить, где проходит ускользающая, как фантом, линия фронта. Но этот блондин то ли действительно не понимал, то ли намеренно молчал, то ли и то и другое вместе. Потеряв терпение, капитан посмотрел на сидевшего неподалёку на пне старшего политрука Гущина. В группе, которую Назарову удалось сколотить из отступавших и попавших в окружение красноармейцев, Гущин был равен капитану по званию.

— Ну что с ним делать, политрук? Кто-нибудь знает немецкий? Может, еврей какой-нибудь есть? У них, говорят, языки похожи.

— Был тут у меня один, — отозвался Гущин, — Смоленский Яков. Так его уже дня два как убило. Слушай, капитан, — старший политрук даже привстал со своего замшелого пня, — идея! Спрошу у латышей. У них-то наверняка кто-нибудь есть.

Отряд Рабочей гвардии из Риги недавно присоединился к группе Назарова, и его командир Юрис Вецгайлс как раз в эту минуту разговаривал, сидя на рухнувшем дереве, с каким-то рыжеватым парнем, который (Гущин успел это заметить раньше) неотлучно находился при нём.

— Товарищ...— Подойдя к Юрису, политрук обнаружил, что забыл, как зовут командира латышей.

— Вецгайлс. Юрис Вецгайлс, товарищ старший политрук, — с акцентом ответил по-русски Юрис.

— Товарищ Юрис, — короткое имя легче было произнести, чем длинную непривычную фамилию, — кто у вас в отряде знает немецкий?

Есть пара ребят, — вскочил на ноги Юрис, — должны понимать. То что эти ребята — евреи, командир отряда не стал уточнять. Сейчас Михаэль позовёт кого-нибудь, — машинально добавил он, не отдавая себе отчёт, что его адъютант-еврей должен сам понимать немецкую речь. И действительно, звать никого не пришлось, потому что сидевший рядом с Юрисом юноша сказал на чистом русском языке:

— Я свободно говорю по-немецки.

Если политрук и был удивлён, то ещё больше удивился Юрис: Михаэль свободно говорит по-немецки? И русский без акцента? Вот так новость! А Михаэль тоже хорош — ничего ему не сказал! И получается, что Юрис плохо знает своих подчинённых. Придётся сделать парню внушение.

— Отлично, — одобрил политрук и кивнул Михаэлю, — пойдём.

Но Эрих Ланг, даже услышав родной язык, ни за что не хотел отвечать на вопросы. Зато произнёс какую-то длинную фразу, которую Михаэль почему-то не стал переводить, и это не укрылось от Гущина.

— Что он говорит?

— Он предлагает нам сдаться и обещает хорошие условия в плену, если солдаты перебьют коммунистов и евреев.

— Что?! — капитан Назаров выругался так сочно и замысловато, что Михаэль, никогда не слышавший настоящих русских ругательств, недоумённо на него посмотрел. А немец, видно не веря, что его могут расстрелять, стал быстро что-то говорить.

— Он говорит, — начал переводить Михаэль, — что они уже захватили больше половины Эстонии и скоро возьмут Таллин. А точнее их войска заняли Псков и подходят к Ленинграду. Ещё он говорит, что в их руках почти вся Белоруссия, а на Украине немецкие армии выходят к Днепру. Поэтому сопротивляться бессмысленно.

— Вот его карта, — сказал старший политрук, — пусть покажет наше местонахождение. Будем пробиваться к северу. Там должны быть наши. Ты карту читаешь? — неожиданно спросил он у Михаэля.

— Да.

— А языки откуда знаешь?

— В гимназии были два языка: немецкий и русский. И дома с отцом мы говорили по-немецки, а с мамой — иногда по-русски. Мой отец — врач, учился в Германии, продолжал отвечать Михаэль, всё ещё не подозревая, что у политрука есть что-то своё на уме, и он не зря задаёт вопросы.

— Вот как? А документы у тебя есть?

Михаэль вытащил латвийский паспорт.

Гущин повертел документ, взглядываясь в незнакомые буквы.

— А советский паспорт где?

— Не успел получить. Война началась.

— И что здесь написано?

— Гольдштейн Мозус. Родился...

— Что ещё за Мозус? Ты же Михаэль, по-нашему — Миша. Я сам слышал.

Ну, вообще-то я Моисей, по-еврейски Мойше. Вот латыши и записали, как у них принято: Мозус.—

— Та-а-к, — протянул старший политрук, — ну хорошо, можешь пока идти. И многозначительно добавил: Мозус.

Наутро отряд Назарова двинулся на север. Получив от Юриса выговор, Михаэль шагал рядом с ним. Тревога не покидала его. Что-то не понравилось политруку то ли в нём, то ли в его документах, и когда они выйдут из окружения — придётся давать объяснения. Только этого не хватало. Он уже слышал кое-что о происходящем в особых отделах НКВД, и меньше всего ему хотелось туда попасть.

А пока Михаэль старался думать о другом. Если немцы повсюду наступают — что же будет дальше? За две недели он уже начал

привыкать к войне, но свой первый бой в Задвинье, где они вместе с красноармейцами защищали подходы к мосту через Даугаву, будет помнить всегда. В отряде Юриса было несколько еврейских ребят и среди них университетский друг Михаэля, студент-медик Моня Губельман. В отличие от приятеля-спортсмена Моня был тщедушным очкариком, классическим примером слабенького еврейчика, и всё же пошёл в Рабочую гвардию. Его-то и убило на глазах у Михаэля, когда отряд уже вступил на мост, чтобы переправиться на правый берег. Они еле успели тогда. Вслед за ними на мост ворвались немцы, пытаясь прорваться к центру, но их удалось отогнать. Два дня шло сражение, и только поздно вечером 30-го июня отряд ушёл из города, присоединившись к отставшей воинской части и вместе с нею попал в окружение. Но им удалось пробиться к Валке, где никого из советского руководства уже не осталось, и так они оказались в Эстонии. А потом в лесу встретили группу Назарова.

Вернётся ли он когда-нибудь в Ригу? А семья? Папа, всегда любивший демонстрировать уверенность, в тот последний вечер, когда Михаэль успел заскочить домой, был удручён и подавлен. Эвакуация сорвалась, они не проехали и полдороги. Ещё хуже выглядела мама. Она совсем обессилела и молча припала к сыну. Ничего не говорила, только гладила, как маленького. А сестрёнка повисла на нём, и нужны были общие усилия отца и матери, чтобы оторвать её от брата. Словно они расставались навсегда. Проклятье! Что за мысли у него в голове! Ничего, раньше или позже немцев погонят обратно, и он обязательно увидит родных! Сказал же кто-то, что русские долго раскачиваются, но, раскачавшись, бьют наповал.

Окрик Юриса прервал его мысли:

— Спишь на ходу?! По сторонам смотри! Не забывай, что «кайтсели»<sup>1</sup> в лесу. В любую минуту могут из-за дерева выскочить.

Но эстонцы не появлялись. Возможно, боялись нападать на достаточно большую и вооружённую группу, но через некоторое время позади, со стороны дороги, послышался гул моторов и гортанная лающая речь. Судя по всему, немцев было много, и прибыли они сюда

<sup>1</sup> Национальное ополчение в довоенной Эстонии. Аналог латышских айзсаргов.

не случайно. Ещё можно было ускорить движение и попробовать оторваться, но неожиданно шум и звуки команд раздались впереди, а в лесу, совсем недалеко, в 200–300-х метрах от них зашевелились кусты. Было совершенно ясно, что отряд обнаружен и окружён, и его уничтожение — только вопрос времени. Старший политрук Гушин посмотрел на капитана:

— Прикажи занять оборону, командир!

— Если заляжем — тут нас всех и перебьют, — отозвался Назаров. — Там, в кустах, наверняка эстонцы. Это слабое звено, будем прорываться через них в глубь леса. Капитан посмотрел в сторону Юриса, явно собираясь что-то сказать, но, как видно передумав, позвал высокого старшину:

— Возьми всех, у кого автоматы, старшина! Будете прикрывать! Остальные — за мной!

Михаэль бежал вместе с другими, стараясь не отставать от Юриса. Впереди раздались выстрелы, но они почему-то запоздали, и находившиеся в кустах «кайтсели» были смяты. Оставшиеся эстонцы рассыпались по сторонам, стреляя справа и слева, но для бойцов Назарова главным была быстрота. Казалось, что план командира удался, и только стрельба, нараставшая за спиной у бегущих, говорила о том, насколько мало у них шансов затеряться в лесу. Михаэль тоже понимал, что их догоняют, и что за кайтселийтовцами следуют немцы. У него было такое ощущение, словно кто-то набросил на них огромную петлю и теперь затягивает узел. А тут ещё заклинило затвор. У Михаэля была старая русская трёхлинейка, и после нескольких неудачных попыток перезарядить винтовку он в отчаянии швырнул её на землю. Оглянувшись назад, Михаэль увидел подбежавшего к нему «кайтселя». Тот целился на ходу, и если бы его не остановил чей-то выстрел, эстонец расстрелял бы Михаэля в упор. Подобрав оружие убитого, Михаэль побежал дальше, так и не придя в себя от испытанного ужаса, и не понимая, что случилось, и каким образом он остался жив, ведь рядом с ним никого не было. Пока он возился с затвором, другие опередили его. Михаэль уже готов был поверить в чудо, когда внезапно ощутил, что он не один, и кто-то находится рядом. Боясь снова повернуть голову, он, не оглядываясь, бежал вперёд,

и только догнав остальных, посмотрел назад и увидел переводящего дух Юриса. Так, значит Юрис был рядом! И убил «кайтселя» тоже он? Но выяснять было некогда, да и мрачный взгляд Юриса не располагал к вопросам. Стрельба нарастала, она звучала со всех сторон, и если бы Михаэль был опытным солдатом, он бы догадался, что идёт встречный бой, что с той стороны, куда стремились окружённые, кто-то прорывается к ним навстречу. Так оно и было. За деревьями замелькали чёрные бушлаты и тельняшки, послышались крики «Полундра!», но что означает эта загадочная «полундра», Михаэль не знал. Контрнаступление снятых с кораблей балтийских моряков по счастливой случайности совпало с прорывом назаровской группы, только сам Назаров порадоваться этому не успел. Пуля, попавшая в голову, настигла капитана, ещё до того как бойцы его отряда начали обниматься с матросами.

Спустя час Михаэль сидел, прислонившись к дереву, не в силах поверить, что всё закончилось, и он остался жив. Его глаза слипались, и мысли путались, когда опустившаяся на плечо тяжёлая рука придавила его к земле, а над головой прозвучал ничего хорошего не предвещавший голос Юриса:

— Ты почему винтовку бросил?

— Затвор заело.

Только сейчас Михаэль вспомнил, что на привале Юрис всем велел смазать оружие, а он забыл.

— За брошенное оружие — расстрел. Ты это понимаешь?

— Я винтовку у эстонца убитого взял. От моей всё равно никакого толку не было.

— У эстонца взял?! — повысил голос Юрис. — От винтовки толку не было?! А если бы меня там не было? А если бы я промазал? Прикладом орудуй, штыком, да хоть палкой, а оружие не бросай! Почему не смазал затвор? Ведь я напомнил всем.

— Пошёл допрашивать немца. А потом...

— Что потом?! Что потом, чангал?!<sup>1</sup>

— Забыл, — еле слышно сказал Михаэль.

---

<sup>1</sup> В латышском сленге — обозначение латгальцев; в переносном смысле — синоним недалёкого и упрямого человека



Поэтому, — чуть мягче сказал Юрис, — давай, разбирай винтовку! Это тебе не звёзды считать!

— Не могу, Юрис! Глаза закрываются. Дай часик поспать.

— Темно будет через часик. Давай, давай, приступай! В этот раз я рядом с тобой оказался, а что будет в следующий?

Пытавшийся задремать под соседним деревом старший политрук Гущин заинтересованно повернул к ним голову, но услышав латышскую речь, отвернулся и снова прикрыл глаза. Только сон не шёл. Из головы не выходил капитан Назаров, с которым Гущин успел сдружиться, а кроме того перед политруком стояла диллема. Гущин понимал, что этот Михаэль-Мозус, он же Мойше, никак не может быть немецким шпионом, но инструкция есть инструкция, и он, Гущин, как офицер и политработник, должен немедленно сообщить обо всём, что вызывает подозрения. Иначе самому несдобровать. И всё-таки жалко мальчишку. Арестуют, начнут допрашивать, а что такое допросы в НКВД старший политрук знал. Перед войной, когда их корпус стоял на Немане, его самого таскали из-за того что в частном разговоре он назвал подозрительной возню по ту сторону границы. И если бы не 22-е июня, валить бы ему сейчас лес где-нибудь на Печоре. Так что же всё-таки делать? Завтра утром остатки их группы будут фильтровать, особист должен приехать, и если он не напишет докладную... Нет, надо писать, только ни о каких шпионах не упоминать. Просто написать, что хорошо бы, на всякий случай, проверить парня.

Но особист почему-то не приехал, и «фильтровать» уцелевших бойцов Назарова никто не стал. В тот момент было не до них. Чтобы остановить немцев, командующий 8-й советской армией ввёл в сражение резерв — морскую пехоту. Краснофлотцы отбросили врага, но долго удерживать фронт не могли. Избегая окружения, моряки уходили к Таллину, и уже оттуда Гущин послал докладную записку в особый отдел, где она затерялась на некоторое время среди многочисленных бумаг.

## Глава четырнадцатая

Стук в дверь повторился. С трудом оторвавшись от своих мыслей, Фира встала с постели. Часов не было в доме, забрали всё, но рассвет уже занимался за окном. Стучали по-прежнему осторожно, и это говорило о том, что стучит кто-то знакомый, свой. Зента? Ну конечно, кто же ещё? Фира не сообразила, что Зента вряд ли осмелилась бы придти за Лией во время комендантского часа. Она подошла к двери, и, посмотрев в «глазок», обомлела: за дверью стоял Залман.

Всё ещё не веря, что ему удалось добраться до дома, не нарвавшись на патруль, доктор обнял жену и проснувшуюся Лию. Обе суетились вокруг него, как бывало раньше. «До эпидемии» почему-то подумал доктор и поразился сравнению. Действительно, то что происходило вокруг можно было сравнить со смертельной эпидемией, поражающей по непонятным причинам лишь определённую группу населения.

Через два часа пришла Зента. Прощаясь с Лией, доктор не мог сдержать слёз, а Фира, чтобы ещё больше не расстраивать дочку, старалась не плакать. Залман вернулся домой, и Фира забыла, что всего лишь несколько часов тому назад думала о смерти и раскаивалась в том, что в своё время не бросила мужа. Возвращение Залмана придало сил, Фире снова хотелось жить, но приговор, который вынесли евреям, не оставлял ни одному из них никакой надежды. О том, что о них не забыли, напомнил дворник Петерис, в середине дня постучавший в дверь. Он сообщил, что Гольдштейнам необходимо зарегистрироваться в полиции. Всем евреям необходимо зарегистрироваться.

— Они всё равно о вас узнают, доктор. И меня могут расстрелять вместе с вами, если вы не явитесь.

Залман заверил Петериса, что завтра они пойдут в участок, но Петерис настаивал, чтобы они пошли сейчас же. Дворник был напуган: одно дело отбиваться от людей Арайса, тем более, что сын, Янка, у них, и совсем другое — не выполнять распоряжения немцев. Доктору пришлось согласиться. Он уже приготовился к тому, что визит в участок не кончится добром, но счастливая звезда, стоявшая над ним в эту ночь, как видно не сошла ещё с неба. За столом сидел Альберт Вёверис, старый знакомый, ребёнка которого Залман спас когда-то от скарлатины. В те годы Вёверис возглавлял полицейский участок, и сейчас, увидев входящих доктора и Фиру, привстал из-за стола. Старина Альберт, с которым Гольдштейн не раз пропускал по рюмке в уютном подвальчике ресторана «Стабурагс», больше не был начальником, но регистрацией евреев занимался он. Крепко пожав Залману руку и притянув его поближе к себе, Вёверис тихо сказал, так чтобы не услышали другие:

— Я выдам вам регистрационные карточки, отмечу, что вы уже давно на учёте, и можете спокойно идти домой. А назавтра сходите на «жиду пунктс»<sup>1</sup> насчёт работы. Там начальником Янукевич, я с ним поговорю. Если обнаружат, что вы не заняты — будет хуже, доктор.

Но идти на «жиду пунктс» Гольдштейну не пришлось. Рано утром раздался длинный звонок, сопровождавшийся стуком в дверь. На пороге стоял немецкий солдат. Кивком головы он приказал доктору следовать за ним. Залман пытался объяснить, что именно сегодня он должен получить работу, но не удостоился ответа и, полный мрачных предчувствий, вышел за дверь, оставив за спиной растерянную Фиру. Он уже приготовился к тому, чтобы снова очутиться в каком-нибудь подвале, тем более что солдат повёл его в направлении улицы Валдемара, но потом маршрут изменился, и доктор не сразу понял, что они идут в сторону военного госпиталя. Тем не менее главная неожиданность была впереди.

Человек, находившийся в кабинете, куда втолкнул Залмана солдат, обернулся, и доктор узнал офицера, который чуть было не стал его

<sup>1</sup> Специальные участки, летом 1941г. контролировавшие занятость евреев на тяжёлых физических работах

квартирантом. Не выказав ни малейшего удивления и с таким видом, словно они недавно расстались, немецкий военврач громко произнёс:

— Я — майор медицинской службы вермахта Иоахим Шлезингер. Но для вас я — господин майор. Запомните это! Любое другое обращение ко мне исключено.

Шлезингер сел за стол, и продолжая в упор глядеть на стоявшего перед ним Гольдштейна, добавил:

— Вы будете работать в госпитале. Но не врачом. Еврей не имеет права лечить арийцев, тем более солдат. Вы будете делать то, что вам велят. Сделав паузу, майор встал и подошёл к Залману.

— Я знаю, что вы прекрасный доктор, — сказал он, понизив голос. — Навёл о вас справки. Буду с вами консультироваться. Получите рабочее удостоверение, сможете передвигаться по городу. Вы один? Жена у вас есть?

— Есть, господин майор.

— Мне нужен человек для уборки квартиры. Пусть завтра утром приходит с вами. Её доставят ко мне домой и покажут, что надо делать, — Шлезингер на минуту задумался. — Впрочем, не стоит. У неё нет удостоверения, вас могут задержать. Хорошо, я пришлю за ней Курта. Предупредите её. Да, кстати, дети у вас есть?

Залман развёл руками, ответить ему было нечего. Но немец понял это по-своему.

— Бывает, коллега. Сочувствую. Хотя... в вашей ситуации это, может быть, к лучшему.

На следующий день Гольдштейн, теперь уже не врач, а еврей, работающий в госпитале, вышел из дома с документом, который подтверждал его статус и давал право приобретать для себя лично продукты и пользоваться трамваем. На бумаге красовалась круглая печать с орлом и свастикой и подпись начальника госпиталя. В одно мгновение майор Шлезингер сделал Залмана привелигированным евреем, и при желании доктор мог бы свысока смотреть на своих страдающих

и гибнущих собратьев. Ему выпала редкая удача, но никакого желания заноситься у него не было, ибо он уже всё понял. В лучшем случае кто-то из них может получить отсрочку, но никакие деньги, никакой талант и никакое мастерство не позволят им купить себе жизнь. Одно лишь не укладывалось в голове: зачем майор это сделал. Сочувствие его побудило или желание, пока можно, использовать медицинские знания Гольдштейна? Хочет помочь или хочет выжать из него всё до последней капли? Ответа доктор не находил. Шлезингер обращался с ним ровно, иногда, наедине, даже дружески, как будто в мире продолжалась прежняя жизнь, за которую, в своё время цеплялся Залман. «Цеплялся, конечно цеплялся, — думал он, в тысячный раз проклиная себя, — ничтожный, слепой человек». Ему повезло, над ним не издевались, но избавиться от чувства обречённости, от ожидания неотвратимой и близкой смерти было невозможно. И Залман и Фира, которая убирала в квартире майора и часто находила намеренно оставленную для неё лишнюю еду, — оба понимали, что даже их покровитель Шлезингер не в состоянии сохранить им жизнь.

Но больше чем собственная участь, Фиру и Залмана волновала судьба дочери. После того, как Зента коротко сообщила, что с Лией всё в порядке, связь прекратилась. Фира изводила себя. Она по-прежнему ничего не говорила мужу, но доктор каждой частицей своего тела чувствовал безмолвный упрёк. После нескольких дней подъёма, вызванного чудесным возвращением Гольдштейна, Фира впала в прежнее состояние. Она делала всё, что нужно, её руки и ноги двигались, но сама она была далеко, и только общая участь связывала её с Залманом. То что их ожидало, ничего хорошего не сулило: на Московском форштадте<sup>1</sup> огораживали колючей проволокой и забором территорию — строили гетто. Доктор всё понял: гетто нужно для того, чтобы всех собрать в одном месте, а затем... Что последует затем, он узнал от Шлезингера, и это был второй случай, когда майор сказал правду. Если в первый раз в квартире Гольдштейнов он только намекнул, то теперь говорил открыто:

— Вам надо подготовиться к худшему, коллега. Буду держать вас у себя столько, сколько смогу, но не всё зависит от меня. Есть

---

<sup>1</sup> Восточное предместье Риги.

начальник госпиталя, а кроме того существуют общие распоряжения относительно евреев, которые мы не можем игнорировать. С вами я могу говорить откровенно, — усмехнулся Шлезингер, приблизив лицо, и Залман уловил запах шнапса, — даже если вы донесёте в гестапо, расстреляют не меня, а вас. Так вот, скоро вам придётся переселиться в гетто. Вы понимаете, для чего?

Доктор догадывался, но решил изобразить недоумение.

— Чтобы легче было очистить от ваших единоверцев город, — майор не стеснялся в выражениях. — И всё же... Попытаюсь что-нибудь сделать. Вы же «полезный еврей».

Последние слова Шлезингер произнёс со скрытой иронией. А спустя неделю, подзвав Залмана, сказал:

— Пока вы сможете днём и ночью находиться в госпитале. В этом случае переселение в гетто удастся отложить. Временно, конечно. Это всё, что я могу сделать.

— А моя жена?

— Тут я бессилён.

— Спасибо, господин майор, но я жену не оставлю.

— Ну как знаете.

А через несколько дней, явившись в госпиталь, Гольдштейн не обнаружил Шлезингера. В кабинете майора он увидел сухощавого немца в чёрном мундире. Халата на нём не было. Взглянув на доктора, немец встал из-за стола.

— Кто позволил тебе, еврей, входить без приглашения? И что ты вообще здесь делаешь?

Остолбеневший от неожиданности доктор не знал что ответить. Подойдя к нему вплотную, офицер сказал, повышая голос:

— Документы! Если нет — будешь расстрелян!

Залман вытащил удостоверение и регистрационную карточку. Прочитав документ, немец медленно порвал его, глядя Гольдштейну в глаза.

— А теперь убирайся! Твоё место там, где все еврейские свиньи!

— Но, господин офицер, господин майор Шлезингер...

— Шлезингер? — переспросил офицер тоном человека, которому сообщили интересную новость, и мгновенно меняясь в лице, заорал, расстёгивая кобурку:

— Если ты сейчас же не исчезнешь, жид, я сам тебя расстреляю!!

С трудом приходя в себя, Гольдштейн брёл в сторону дома. Сейчас его жизнь зависела от того, опознают в нём на улице еврея или нет. Спасительного удостоверения больше не было, и сесть в трамвай он не мог. Доктор уже подходил к дому, когда из-за угла неожиданно показался патруль латышской вспомогательной полиции. Нужно было, как ни в чём не бывало, толкнуть парадную дверь и войти в подъезд, время ещё оставалось, но страх сделал Залмана неподвижным. Он уже понял, что погиб, и смирился с этим, когда чья-то рука, влепив пощёчину, потащила его в дом, а над ухом зазвучал женский крик:

— Ты где был всю ночь, старый чёрт?! Опять у этой потаскушки Аусмы? Меня тебе мало?! Пора уже наставить тебе рога, чтобы знал!

Поравнявшиеся с ними полицейские, ухмыляясь, прошли мимо. Один из них обернулся:

— Если не найдёшь себе парня, красотка, приходи к нам.

— Спасибо, ребята! Так и сделаю.

Они взбежали на самый верхний этаж, не думая о том, что могут кого-нибудь встретить. Доктор никогда ещё так не бегал. К счастью, лестница была пуста. На площадке Зента прижалась к Залману.

— Спускайтесь осторожно к себе, — шёпотом сказала она, — а я зайду к вдове Калныне посудачить. Скоро буду у вас.

— Откуда вы появились Зента?

— Да я уже по лестнице к вам поднималась, и вдруг как будто в грудь кольнуло. Сразу на улицу выскочила — и тут вы...

— Зента, — начал было доктор, — дорогая...

Но Зента прижала палец к губам и слегка подтолкнула Гольдштейна к ступеням.

Спускаясь, Залман думал о том, что, конечно же, Фира права: Зента всё ещё к нему небезразлична. Неужели только поэтому рискует? Или потому что верующая? Но разве вера обязывает её и Балодиса подвергать себя опасности ради евреев? Нет такой веры, нет обязанности, и всё же находятся люди... Зента прячет Лию, а сегодня спасла его буквально в последний момент. Лия! Как же он не спросил о ней? О себе думал, за себя собирался благодарить! Позор, позор! А что удивительного? Такой эгоист, как он, всегда думал о себе, больше чем о жене и детях. Поэтому Михаэль на войне, дочь прячут добрые люди, и если её найдут — их могут расстрелять, он и Фира скоро окажутся в гетто, а ведь всё могло сложиться иначе.

О том, что случилось со Шлезингером, Залману рассказала Фира. Сегодня утром, когда она пришла убирать, у входа в дом стоял денщик майора — Курт. Увидев Фиру, солдат загородил дверь:

— Уходите отсюда быстро и больше не появляйтесь, — и приблизившись вплотную, добавил шёпотом, — майора разжаловали и отправили санитаром на фронт. Приказ пришёл из Берлина. Брат его арестован. Высказывался где-то против войны, против Гитлера.

«Вот оно что, — подумал доктор. — Майора, конечно, жаль. С самого начала было ясно, что он не нацист. Благодаря ему мы немного передохнули. Но это ничего не меняет. Дома мы проведём ещё несколько дней, а потом окажемся в загоне, откуда прямая дорога на бойню».

Зента появилась через полчаса. Она не рискнула говорить о Лие со своими деревенскими родственниками: отношения с ними и так осложнились, после того как выяснилось, что Юрис — коммунист и ушёл на восток с русскими. Держать девочку у себя становилось всё труднее. Балодис молчал, но Зента чувствовала, что муж обеспокоен и нервничает. Нужно было что-то придумать, кого-то найти, но кого? Где искать таких людей, Зента не знала. Ломая голову, она вспомнила, что уходя из Риги, Юрис оставил ей адрес. «Если у тебя возникнут серьёзные затруднения, — сказал он, — попробуй обратиться по этому адресу». Может действительно обратиться? — подумала Зента, и уже на следующий день поднималась в лифте на последний



этаж большого серого дома на Мариинской улице. Она так волновалась, что несколько минут простояла на лестнице, пока нашла в себе силы позвонить. Но дверь никто не открывал. И только после того как Зента позвонила в третий раз, в глубине квартиры послышались шаги. На пороге стоял невысокий плотный мужчина.

— Что вам угодно?

— Я сестра Юриса Вецгайлуса, — запинаясь произнесла Зента, — он...

— Не имею чести знать вашего брата, — отрезал мужчина, продолжая выжидательно смотреть на странную гостью.

— Извините, — пробормотала Зента, понимая что ей лучше уйти, и уже повернулась в сторону лифта, когда хозяин квартиры спросил:

— Вам брат кроме адреса ничего не сообщил?

— Нет.

— Зайдите.

В коридоре незнакомец сказал:

— Я знаю, что вы — сестра Юриса. Видел вас как-то, когда ваш брат в айзсаргах состоял, — многозначительно добавил он. — Что вас привело?

Зента почувствовала, что несмотря на летний день ей становится холодно. Упоминание об айзсаргах ничего хорошего не сулило. Или наоборот? Кто этот человек, можно ли с ним говорить? Но разве Юрис дал бы ей ненадёжный адрес? Стараясь справиться с собой и успокоиться, она изложила свою проблему. Мужчина слушал внимательно, но Зенте показалось, что он удивлён и не пытается скрыть удивление.

— И чем же я могу помочь? — равнодушно спросил он, давая понять, что просительница пришла напрасно.

— Юрис сказал, — теряя надежду ответила Зента, — что если возникнут затруднения, можно обратиться к вам.

— Это именно тот случай, когда я не могу вмешаться. Не имею права, — загадочно сказал хозяин квартиры. — Я понимаю ваш порыв, сам евреям сочувствую, но вам не следовало приходить ко мне с таким вопросом. Разве ваш брат не знал, для чего я остаюсь в го-

роде? — Спыхватившись, что сказал лишнее, собеседник Зенты намурился и встал:

— Я попробую что-нибудь узнать, но при одном условии. Если мне удастся выполнить вашу просьбу, вам придётся выполнить мою. Какую? — Этого я пока сказать не могу. Согласны? Вот и хорошо, только сюда больше не приходите. Если будут новости, я сам вас найду. Получите привет от Вáлдиса.

Домой Зента вернулась в смятении. Тот, кто с ней говорил, наверняка коммунист, и не рядовой, а главарь. И хочет её использовать. Почему? Что она может? А Юрис? Зачем дал ей адрес? Неужели для того, чтобы она на коммунистов работала? Зенту охватил страх. Даже пряча в своей квартире Лию, она не испытывала такого страха. Забыв обо всём, она теперь желала одного: чтобы этот человек не появился.

И Валдис действительно не появлялся. Зато появился другой. Картуз на голове и одежда выдавали в нём хуторянина. Передав привет, он сказал, что пришёл за Лией.

— Я пробуду в городе два дня. К вам больше не приду. Послезавтра в десять подойдите с девочкой на Пёрнавас угол Вáрну.

— Но это далеко. А если её опознают?

— А мне какое дело? Я что, должен больше вас рисковать? Да, и деньги не забудьте.

— Деньги?

— На пропитание. А как вы думали?

— Но у меня нет денег.

— Ищите. Родственники у неё остались? Можно браслеты, серьги...

И Зента бросилась к Гольдштейну, не зная что делать. Она помнила, что у доктора забрали всё. Но оказалось, что кое-какие деньги и ценности у Залмана остались. Краузе и Янцис не обнаружили сейф, прикрытый этажеркой и так искусно вделанный в стену, что снаружи это было почти незаметно. Зента вздохнула с облегчением. Она ещё не знала, что её ждут новые испытания, не менее рискованные и опасные, чем прятать еврейку.

## Глава пятнадцатая

Тяжёлые мысли и вызванные ими видения настолько одолели Йосэфа, что о приближении ночи он думал со страхом и предпочитал постели рабочий стол. Джуди с тревогой наблюдала за ним. Она уговаривала себя, что беспокойство за оставшуюся в Латвии семью является причиной бессонницы мужа, и в то же время не сомневалась, что есть ещё одна, самая главная причина. Тонкая и чувствительная, Джуди жалела Йосэфа, но считала, что отношения необходимо выяснить. Ничто не должно стоять между ними. И неизвестную женщину, прежнюю любовь Йосэфа, ей тоже было жаль. Как и Йосэф, Джуди видела гибельную участь европейских евреев, но перед ней вставали не окрашенные в цвета мрачного поэтического вдохновения, достойные Данте картины, а потрясающие однообразием и монотонностью чёрно-белые, как в кинохронике, кадры страданий. Роковое бессилие её народа открылось Джуди во всей своей трагической предсказуемости и неизбежности. Значит, всё было напрасно? Вся их борьба, вся агитация в Польше, в Литве, в других местах? И полные страшного предчувствия — нет, не предчувствия — уверенности призывы Жаботинского, надорвавшего сердце, пытаясь предостеречь евреев, стараясь преодолеть их вековую глухоту, их страшную, губительную пассивность.

А с другой стороны, — снова и снова возвращалась к болезненной теме Джуди, — даже если бы эти людские массы поднялись, куда бы они двинулись? Ведь Страна Израиля закрыта для народа Израиля. Иудея закрыта для иудеев. И кто это сделал? Англичане! Те самые англичане, с которыми не хотел вступать в конфликт Жаботинский, полагая что в начавшейся войне интересы сионизма и Британии совпадают, или, по крайней мере, не противоречат друг другу. Оказывается — противоречат! Так на что же рассчитывал её кумир и учитель? Разве не крайней степенью отчаяния было вызвано его обращение к трёхмиллионному еврейскому населению Польши образовать ги-

гантскую колонну и двигаться на юг, к морю. И колонну эту собирался возглавить он сам. Неужели, по мнению Жаботинского, все преграды должны были рухнуть от одного только вида возвращающихся в свою страну евреев? А что если это действительно так? Что если одного лишь массового порыва не хватало для спасения и победы? История знает такие примеры.

Своими мыслями Джуди решила поделиться с Йосэфом. Поговорить, обсудить и постепенно перейти к тому, что в последние месяцы не давало покоя и стояло между ними. Но муж почти непрерывно писал, и Джуди решила подождать, пока Йосэф вспомнит о её существовании. Долго ждать не пришлось. На следующее утро, собираясь в редакцию, Джуди увидела, что Йосэф надевает пиджак:

— Пойду с тобой. Отнесу в газету стихи.

Йосэф говорил о газете «Форвертс» — самой большой еврейской газете Нью Йорка. Он уже публиковал там свои произведения. Непонятно почему, но откровенно социалистическая «Форвертс» и раньше не пренебрегала поэзией Йосэфа и сейчас открыла ему двери, хотя то, что он писал теперь, должно было испугать благополучных евреев Америки откровенным и страшным провидением.

— А мне ты не хочешь показать?

Джуди почудилось, что Йосэф замялся. Как видно в его намерения не входило показывать эти стихи жене. И тем не менее, преодолевая замешательство, он отозвался:

— Обязательно, дорогая. Конечно, покажу.

— Сейчас нет времени, милый. Прошу тебя, подожди до вечера. Хочется послушать, как ты читаешь.

— Тебе нравится, как я читаю?

— Нравится.

— Хорошо, — отозвался Йосэф, нехотя снимая пиджак, — отнесу завтра.

Вечером, удобно устроившись на диване, Джуди приготовилась слушать, замечая, что муж, который раньше, едва закончив, спешил показать ей ещё не отредактированные строки, сегодня тянет время и не торопится начинать. Набравшись терпения, она не подавала вида и услышала, наконец, негромкий, но сильный голос Йосэфа:

*Любимая, поверь, я не простил  
Себя, прикрывшись мудростью лукавой,  
За то, что твою руку отпустил,  
И ты ушла дорогою кровавой.*

*Давно умолкли птичьи голоса,  
Уже давно сады отзеленели,  
И зимним льдом сковало небеса,  
И, словно в бурю, закачались ели.*

*На снег ступала ты, как на траву,  
И только слёзы падали, не тая,  
Когда в свой час к раскрывшемуся рву  
Ты подошла, нагая и святая.*

*Слова молитвы бормотал старик,  
Ребёнок прижимал к груди игрушку,  
И вышел из глубин сознания крик  
И оглушил притихшую опушку.*

*В то утро, обнажённых леденя,  
Здесь стужа беспощадная царила,  
И скрылось от людей светило дня,  
И никого лучом не озарило.*

*Как будто бы, скрываясь, берегло  
В небесных, недоступных взору схронах  
Оно лишь для живых своё тепло,  
И обласкать не смело обречённых.*

*Твоя звезда, как гаснущий алмаз,  
В последний раз на небе промелькнула,  
Ты ощутила холод волчьих глаз  
И на тебя направленное дуло.*

*Не покачнулось небо в этот миг,  
Земля свой путь во тьме не изменила,  
Была одна, не прятаящая лик,  
Раскрывшая объятия могила.*

*Прости меня, прости, за то что мы  
С тобой в разлуке, золотая павая!  
Пускай тебя укроет от зимы  
Твоих волос пылающая лава!*

*Пускай тебя нежнейшей из перин  
Окутает волшебная завеса,  
И по одной из сказочных тропин  
Тебя к спасенью выведет из леса!*

*И бесконечно-синий небосвод  
Мир, полный света, пусть тебе откроет!..  
Ты ждёшь удара. Стынет пулемёт,  
И под сосною кто-то яму роет.*

Йосэф закончил читать, но Джуди молчала. Оба чувствовали, что молчание затянулось. И только когда Йосэф удивлённо и непонимающе уставился на жену, Джуди, пересилив себя, сказала:

— Йоси! Ты ведь любишь эту женщину.

Йосэф сделал протестующий жест, но Джуди только усмехнулась:

— Это стихотворение напоминает предыдущее из той же серии. И всё о ней. Как ты это объясняешь?

— Дорогая! Она в беде. Ты же знаешь, что там происходит.

— Знаю. И даже больше того: я тебя понимаю. Но мне хотелось бы знать другое: где моё место между вами? Как её зовут?

— Фира.

— Ты думаешь только о Фире. Совсем недавно ты, очертя голову, хотел броситься туда. Хорошо, что ничего не вышло. Где бы ты сейчас был? Вон там зеркало, посмотри на себя: осунулся, не ешь и не спишь.

— Пойми, что у меня есть только ты! А Фира осталась в воспоминаниях. И связь с ней у меня в моём поэтическом воображении, в стихах. Потому что ей грозит смерть. А также всем евреям Риги и не им одним. Их будущее я вижу так же отчётливо, как сервиз за витриной буфета. И это сводит с ума. Ведь я ничего не могу сделать, только стихи писать.

Йосэф подошёл к дивану и сел рядом с женой.

— Да, в своё время мне было тяжело. Расставшись с Фирой я не знал, как буду жить дальше. Вокруг царила пустота: никто мне не был нужен, я никого не хотел видеть. Но появилась ты, и я стал смотреть на тебя с интересом. Вначале это была симпатия, возможность проводить вместе время, говорить о важных для нас обоих вещах. Зато потом! Уже на корабле, когда мы уезжали из Риги я понял, что ближе тебя нет у меня существа. Ты моя единственная, самая дорогая, любимая женщина! Только ты! Давно собирался тебе сказать, но то одно, то другое мешало: сначала подполье, потом переезд сюда... Джуди, дорогая! Я хочу, чтобы у нас с тобой был ребёнок.

Йосэф не сомневался, что Джуди обрадуется. Он был уверен, что выразил их общее желание, и ожидал, что жена бросится ему на шею. Но Джуди неожиданно отстранилась, и Йосеф, даже не посмотрев в её сторону, почувствовал, как она забилась в угол дивана и сжалась в комок. Удивлённый и раздасадованный, он встал и, словно подводя итог, произнёс:

— Но почему-то моё желание восторга не вызывает.

Джуди не отозвалась. Замолчал и Йосэф. Повисла напряжённая тишина, и только через несколько минут её с трудом нарушил непривычно тихий голос Джуди.

— Я должна была поговорить с тобой раньше, точнее с самого начала. Ты спрашивал меня о моей прошлой жизни, но я отметала все вопросы — не могла говорить об этом. Значит, настало время рассказать. Извини, я закурю, успокоюсь.

Джуди прошла на кухню и с прикуренной сигаретой и пепельницей вернулась обратно.

— У моего отца была швейная мастерская в Бронксе. Ему было девятнадцать лет, когда он один приехал в Америку из Жлобина. Мой отец замечательно шил и, поработав некоторое время на хозяйина, быстро наладил свой бизнес. Женился, пустил корни. Родился мой брат, а вскоре и я. Но маленькая мастерская отца не устраивала, он мечтал о большем. Взял кредит, купил оборудование и открыл швейную фабрику. Вначале всё было замечательно, мы стали жить лучше, переехали в просторную квартиру. Но грянул кризис, люди разорялись один за другим, не интересовались модной и качественной одеждой, мечтали только о том, чтобы выжить. Отец предпринимал невероятные усилия остаться на плаву, но однажды фабрика встала. Все возможности были исчерпаны, кончились деньги, и возвращать кредит стало нечем. Призрак долговой тюрьмы маячил рядом. В тщетных попытках найти выход мой отец вспомнил о своём земляке из Белоруссии, крутившемся на Уолл-Стрит. Тот познакомил его с крупным биржевым спекулянтом Рувимом, которого в деловом мире называли Ричардом.

Ричард пришёл к нам. Ему было далеко за тридцать, но он бы ещё погулял холостяком, если бы мать, которую Ричард любил, не настаивала на женитьбе. Я не сразу поняла, зачем он пришёл. Мне исполнилось семнадцать лет, я была наивна, застенчива и скромна. Настоящая еврейская девочка с большой косой и розовым бантом. Идя к нам, Ричард был настроен скептически, он уже пересмотрел множество невест, но увидев меня, тут же решил с отцом все вопросы. Через три месяца должна была состояться свадьба.

Я сопротивлялась: жених был старше меня в два раза. Наша квартира находилась на шестом этаже, и мой брат дважды стаскивал меня с подоконника. Мне не хотелось жить. Но отец валялся в ногах, он



целовал мою обувь и говорил, что выйдя замуж за Ричарда, я спасу всю нашу семью. У меня не было выхода.

Мне пришлось привыкать к Ричарду, и это было тяжело, хотя мой муж был видным мужчиной. В отношениях с женщинами у него был большой опыт, к тому же Ричард привык удовлетворять все свои желания, но он меня не насиловал. Нет, этот человек сумел сделать так, что я сама полюбила интимную сторону жизни. Прости за такую откровенность, Йоси, но без этих подробностей трудно будет понять то, что произошло дальше.

Я стала испытывать к Ричарду неизвестные мне ранее чувства, и, возможно, полюбила бы его, но сделав меня женщиной, мой муж заскучал. Ему не хватало приключений, его потянуло на старое. Он являлся домой посреди ночи, а иногда не приходил вовсе. Меня изводили ревность и гнев, во мне проснулись такие качества, о которых я не подозревала. Обычная, много раз описанная в романах история, только теперь это происходило в жизни, происходило со мной. Прошло ещё несколько месяцев, я обнаружила, что беременна, и поспешила рассказать об этом мужу, в надежде что он успокоится.

Ричард обрадовался. Он очень хотел ребёнка, но, вопреки моим ожиданиям, продолжал разгульную жизнь. И при этом любил меня. Он и раньше охотно выполнял мои желания, а узнав о беременности, старался ещё больше. У него стало ритуалом говорить мне ласковые слова, напоминать о своей любви, в то же время отвергая все попытки ограничить его свободу. Таков был этот противоречивый, не всегда понятный человек.

Но я-то была совсем юной. И очень гордой. Я поклялась, что не стану терпеть и отплачу Ричарду, заставив его самого проливать слёзы и разыскивать меня по всему Нью Йорку. Только в моём положении этого нельзя было сделать. У меня возникло желание прервать беременность, избавиться от плода. Себе я говорила, что мне только восемнадцать, что у меня ещё будут дети. И я пошла на аборт. А через несколько дней мне стало плохо, и меня увезли в больницу. Ричард ни о чём не догадывался, он умолял врачей сделать всё возможное и сохранить беременность, обещал им любые деньги. Представь себе его состояние, когда ему сказали, что никакой беременности нет.

А мне врачи объявили, что я больше не смогу иметь детей. Узнав об этом, Ричард потерял ко мне интерес. Ему нужен был наследник. Он дал мне развод, назначив небольшую, но постоянную ренту и оставив мне эту квартиру на Манхэттэне. Так закончился мой первый брак. На моё счастье Ричард так ничего и не узнал. Меня спас врач, который делал аборт. Он сам боялся последствий и сказал Ричарду, что произошёл выкидыш.

Надо было чем-то заняться, и я поступила в университет. Появились друзья, среди которых были сионисты, в большинстве — сторонники Жаботинского. Я стала ходить на собрания, участвовала в мероприятиях, и мне открылось то, о чём я не имела ни малейшего представления. О еврействе я знала немного, в нашей семье мало соблюдали традиции. Только мама зажигала субботние свечи, и отец постился и шёл в Йом Кипур в синагогу. Но в семье мы говорили на идиш, а я стала учить иврит, и кроме того увлеклась журналистикой и переводами. Моя деятельность становилась всё более активной, я постоянно была среди людей и только ночевала дома. Это позволяло забытья, помогало пережить травму. Но меня поджидало самое худшее.

Мой старший брат был добрым и отзывчивым человеком. Когда кризис пошёл на спад, он открыл небольшой магазин хозяйственных товаров. У него работал чернокожий парнишка из Гарлема, старательный и услужливый. Мой брат привязался к нему. Однажды парень пропал. Он не появлялся на работе, и брат, чтобы выяснить, в чём дело, поехал в Гарлем. Оказалось, что мальчик, его звали Ирвинг, болен, а у семьи нет денег на врача. Мой добрый брат всё организовал, за всё заплатил, и обратно на станцию метро его сопровождали молодые родственники Ирвинга. Брат думал — для охраны, а им не давал покоя его бумажник. На перроне моего брата ограбили, избили и сбросили на рельсы. Через полминуты подошёл поезд.

Гибель сына подкосила моих родителей. Спустя год умер отец, на полгода пережила его моя мама. Я осталась одна. У нас были родственники, но отношения с ними не складывались, я дружила только с Сэмом. Были у меня и мужчины, но ни с одним я не задержалась. А вскоре встретила тебя.

Джуди перевернула пачку, пытаясь вытряхнуть очередную сигарету, но пачка была пуста.

— С тобой, — продолжала Джуди, — я решила начать новую жизнь и не хотела никаких воспоминаний. Я старалась обуздать свой темперамент, который разбудил во мне Ричард. Может быть и зря, но я чувствовала женским чутьём, что у тебя были тяжёлые переживания, и решила, что тебе не нужна жена, которая ввергнет тебя из одних страстей в другие. Да и мне самой хотелось тишины. Так сложился образ спокойной рассудительной Джуди, которую ты знаешь, и ушла в тень другая Джуди, которую ты не знал.

Джуди замолчала. Молчал и Йосэф. Обоим стало ясно, что откровенность Джуди подвела под их прежними отношениями черту, и того, что было раньше, уже не будет. Открыв Йосэфу прошлое, Джуди испугалась. Ей стало казаться, что сняв с себя лак, обнажив душу, а, главное, с опозданием сообщив мужу, что не может быть матерью, она навсегда оттолкнула от себя Йосэфа. Таких вещей мужчины не прощают. Она всегда боялась, что тайна раскроется, и вот — это случилось.

А Йосэф был ошеломлён и сбит с толку. У него не было слов. После мучительной истории с Фирой он искал надёжный приют, верного друга и спутника, и до сегодняшнего дня всё так и выглядело. И вот, оказывается, что это ненастоящее, а настоящую Джуди он не знал, и если они сейчас расстанутся, так никогда и не узнает. Но он не хочет, он не желает с ней расставаться! Да, а дети? У них никогда не будет детей! Джуди скрыла от него проблему, правильно понимая, что в этом случае он вряд ли на ней бы женился. Йосэфа охватила горечь: Джуди поступила подло, да ещё разыграла из себя целомудрие, а сама чего только не испытала. «Были у меня и мужчины» — это как понимать? Погуляла, а теперь покоя хочет? Йосэф почувствовал, как в нём нарастают разочарование и обида. Значит Джуди не та, за которую себя выдавала? Как теперь ей верить? И всё же — сплеча рубить не надо. У Джуди есть много достоинств. Она ему не лгала, просто не всё о себе рассказала. Далекое не всё. Но Джуди понимает и чувствует его творчество, несмотря ни на что на неё можно положиться, и расстаться с ней — значит оказаться без твёрдой опоры.

Нужно было немедленно что-то сказать, и Йосеф судорожно подыскивал слова, когда Джуди заговорила вновь, будто и не было долгого и тяжёлого молчания:

— Теперь тебе всё известно. Я понимаю, что поступила бесчестно, утаив от тебя то, что нельзя было скрывать. Сможешь ли ты простить? Я оттягивала признание, потому что боялась тебя потерять. Заговорив о ребёнке, ты не оставил мне выбора, а разыгрывать фарс и лгать я не могу. Говоря о том, что между нами не должно быть тайн, я имела ввиду тебя, забыв о том, что сама ношу в себе тайну. Йоси, любимый, давай начнём всё сначала, теперь ничто не стоит между нами. Хочешь узнать другую, неизвестную тебе Джуди? Она тряхнула головой, и пепельные волосы рассыпались по плечам, а в серых затуманенных глазах Йосеф увидел то, что лишь однажды в жизни видел у Фиры.

На следующее утро он долго не мог подняться. Йосеф понимал, что только в эту ночь по-настоящему узнал свою жену. Нет, не узнал, а познал, впервые за всё время что они вместе. Познал, как библейские герои: как Давид Бат-Шеву, как Элькана жену свою Хану. Познавать — это не просто узнать, это такое состояние, когда слияние души и тела становится полным. И прилепится человек к жене своей, — сказано в Торе, — и станут одной плотью. Вот так и он прилепился к Джуди.

Через час Йосеф вышел из дому. Нужно было спешить. Если до обеда он успеет в редакцию, стихи пойдут в завтрашний номер. Уже под утро, прежде чем уснуть, они говорили о стихах Йосефа, и Джуди сказала, что такая поэзия подходит для личных переживаний, но не годится для того, чтобы написать о национальной трагедии. Что об этом писать надо так, как писал о погроме Бялик, ощущая себя посланником и пророком. Йосеф не возражал. Он ответил, что ищет и непременно найдёт свой стиль, подумав при этом, что Джуди ухватила, как всегда, самую суть и растолковала ему, как школьнику.

В гигантских лабиринтах Нью Йорка можно было с успехом потерять самому, но почти не было шансов встретить на улице зна-

комых. Поэтому Йосэф даже не пытался скрыть удивление, когда в поезде метро неожиданно увидел адвоката Лангермана. Почтенный адвокат восседал на сиденье так, словно находился в собственном роллс-ройсе, и его крупное, ухоженное, хотя и похудевшее лицо ясно свидетельствовало о том, что в жизни Лангермана происходят благоприятные перемены. Увидев Йосэфа, он приподнялся, чтобы схватить поэта за рукав и усадить на свободное место рядом.

— Не представляете, как я вам рад, дорогой Йосэф, — заговорил адвокат, и Йосэф уловил тонкий запах хорошего одеколона, — и как благодарен. Брат для брата не сделал бы большего.

— Это Джуди. Я-то при чём?

— При том, что у вас такая жена.

— Но разве это моё достоинство?

— А разве нет? Такая блестящая, интересная, умная женщина с вами рядом. В Нью Йорке многие хотели бы быть на вашем месте. Завидую вам по-хорошему, Йосэф, хотя куда уж мне, старику.

Лангерман говорил ещё что-то, но Йосеф переключился на собственные мысли. Он подумал, что не только Джуди не раскрылась перед ним сразу, но он сам проглядел свою жену, не разобрался, недооценил, зато такой знаток, как Макс, моментально увидел то, что не увидел он. Йосэф вдруг отчётливо вспомнил, как Макс смотрел на Джуди, когда они впервые пришли в Риге к нему в контору. Рига! Кажется, Лангерман только что произнёс это слово.

— Вы что-то сказали про Ригу, дорогой Макс? — переспросил Йосэф.

— Я говорю, что немцы отдали приказ о переселении всех рижских евреев в гетто.

— И что это значит?

— Хотелось бы думать — ничего, кроме самого факта, но сердце подсказывает другое. Расстрелы начались ещё в июле. Во многих латвийских волостях не осталось ни одного еврея.

— Откуда у вас эти сведения?

Макс пожал плечами:

— Это я открыть не могу. Но государственный департамент в курсе.

«Ну, да, — размышлял Йосэф, выйдя из метро и пешком добираясь в редакцию, — они в гетто, а я в удобной квартире с ванной стишки себе спокойненько пишу. Нет, хватит! Возвращаемся в Эрец Израэль<sup>1</sup>. Сегодня же скажу Джуди. В такие дни я должен быть на фронте, а наш фронт теперь там».

### Конец первой книги

---

<sup>1</sup> Страна Израиля (*ивр.*).

# СОДЕРЖАНИЕ

## Дыхание жизни. Роман

Книга первая

### Сертификат

Глава первая . . . . .	7
Глава вторая . . . . .	19
Глава третья . . . . .	26
Глава четвёртая . . . . .	35
Глава пятая . . . . .	44
Глава шестая . . . . .	51
Глава седьмая . . . . .	65
Глава восьмая . . . . .	72
Глава девятая . . . . .	86
Глава десятая . . . . .	93
Глава одиннадцатая . . . . .	108
Глава двенадцатая . . . . .	117
Глава тринадцатая . . . . .	123
Глава четырнадцатая . . . . .	130
Глава пятнадцатая . . . . .	139

*Литературно-художественное издание*

**Ханох Дашевский**

# **Дыхание жизни**

*Роман*

**Книга первая**

Редактор — *Евгений Степанов*

Компьютерная верстка, макет — *Ирина Ракитина*

Корректурa авторская

Формат 140x200

Гарнитура Times

Печать офсетная.

Тираж 200 экз.

Сдано в набор 07.05.2019

Подписано в печать 24.06.2019

Издательство «Вест-Консалтинг»  
115230, г. Москва, Хлебозаводский проезд, д. 7,  
стр. 9, этаж 7, пом. XIV, ком. 12  
Тел. (495) 978 62 75

Типография ИПК «Квадрат»  
Белгородская обл., г. Старый Оскол  
Комсомольский проспект, 73.